


---

# Виктор ГЮГО

---



✧ ОТВЕРЖЕННЫЕ ✧  
главный роман Виктора Гюго  
В ОДНОМ ТОМЕ



Виктор Мари Гюго

**Отверженные**

«ФТМ»

«ЭКСМО»

1862

**Гюго В.**

Отверженные / В. Гюго — «ФТМ», «Эксмо», 1862

ISBN 978-5-699-50957-7

Знаменитый роман-эпопея Виктора Гюго о жизни людей, отвергнутых обществом. Среди «отверженных» – Жан Вальжан, осужденный на двадцать лет каторги за то, что украл хлеб для своей голодающей семьи, маленькая Козетта, превратившаяся в очаровательную девушку, жизнерадостный уличный сорванец Гаврош. Противостояние криминального мира Парижа и полиции, споры политических партий и бои на баррикадах, монастырские законы и церковная система – блистательная картина французского общества начала XIX века полностью в одном томе.

ISBN 978-5-699-50957-7

© Гюго В., 1862

© ФТМ, 1862

© Эксмо, 1862

# Содержание

Часть I	6
Книга первая	6
Глава 1	6
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	12
Глава 5	16
Глава 6	18
Глава 7	21
Глава 8	23
Глава 9	25
Глава 10	27
Глава 11	35
Глава 12	37
Глава 13	39
Глава 14	41
Книга вторая	43
Глава 1	43
Глава 2	50
Глава 3	52
Глава 4	55
Глава 5	57
Глава 6	58
Глава 7	61
Глава 8	65
Глава 9	67
Глава 10	67
Глава 11	69
Глава 12	71
Глава 13	73
Книга третья	79
Глава 1	79
Глава 2	82
Глава 3	85
Глава 4	87
Глава 5	88
Глава 6,	90
Глава 7	91
Глава 8	94
Глава 9	96
Книга четвертая	99
Глава 1,	99
Глава 2	104
Глава 3	105
Книга пятая	108
Глава 1	108

Глава 2	109
Глава 3	111
Глава 4	112
Глава 5	114
Глава 6	117
Глава 7	118
Глава 8	119
Глава 9	121
Глава 10	122
Глава 11	126
Глава 12	126
Глава 13	128
Книга шестая	134
Глава 1	134
Глава 2	136
Книга седьмая	142
Глава 1	142
Глава 2	143
Глава 3	146
Глава 4	157
Глава 5	159
Глава 6	166
Глава 7	170
Глава 8	173
Глава 9	175
Глава 10	179
Глава 11	183
Книга восьмая	186
Глава 1	186
Глава 2	187
Глава 3	189
Глава 4	192
Глава 5	194
Часть II	198
Книга первая	198
Глава 1	198
Глава 2	199
Глава 3	203
Глава 4	204
Глава 5	205
Глава 6	207
Глава 7	208
Глава 8	211
Глава 9	213
Глава 10	215
Глава 11	218
Конец ознакомительного фрагмента.	219

# Виктор Гюго

## Отверженные

### Часть I

#### Фантина

#### Книга первая

##### Праведник

*До тех пор пока силою законов и нравов будет существовать социальное проклятие, которое среди расцвета цивилизации искусственно создает ад и отягчает судьбу, зависящую от бога, роковым предопределением человеческим; до тех пор пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века – принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества; до тех пор пока в некоторых слоях общества будет существовать социальное удушение; иными словами и с точки зрения еще более широкой – до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.*

*Отвиль-Хауз, 1862 г.*

### Глава 1

#### Господин Мириэль

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; архиерейский престол в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, будет, пожалуй, небесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом г-на Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его собственные поступки. г-н Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать-двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько мал ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни он целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот пришла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель собственной семьи, тра-

гические события 93-го года, быть может, еще более страшные для эмигрантов, следивших за ними издали сквозь призму своего отчаяния, – не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений, заполнявших его жизнь, внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, ломающей его существование и уничтожающей материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; знали только, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году г-н Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в глубоком уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касающееся его прихода, – теперь уже трудно установить, какое именно, – привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

– Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

– Государь, – ответил Мириэль, – вы видите доброго человека, а я – великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала об имени этого кюре, и немного времени спустя г-н Мириэль с изумлением узнал о том, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни г-на Мириэля, никто не знал. Семья Мириэля была мало известна до революции.

Господину Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря – околесица, прибегая к выразительному языку южан.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти рассказы и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Господин Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, м-ль Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, г-жа Маглуар, ровесница м-ль Батистины, бывшая прежде «служанкой господина кюре», получила теперь двойное звание: «горничной м-ль Батистины» и «экономки его преосвященства».

Мадмуазель Батистина была высокая, бледная, худощавая и кроткая особа. Она олицетворяла собою идеал всего того, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку просвечивал ангел. Это была девственница, более того – это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Госпожа Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых – из-за мучившей ее астмы.

Когда г-н Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после генерал-майора. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал г-н Мириэль.

Когда епископ вступил в должность, город стал ждать, каким он окажется на деле.

## Глава 2

### Господин Мириэль превращается в монсеньора Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Это было огромное и прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия монсеньором Анри Пюже – доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, занимавшим архиерейский престол в Дине в 1712 году. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и двор, весьма обширный, со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой – длинной и роскошной галерее, которая была расположена в нижнем этаже и выходила в сад, – монсеньор Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, где присутствовали монсеньоры: Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ князь Амбреньский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции; аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, и знаменательная дата – 29 июля 1714 года – была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

- Господин смотритель, сколько больных у вас в настоящее время? – спросил он.
  - Двадцать шесть, монсеньор.
  - Да, я насчитал столько же, – подтвердил епископ.
  - Кровати стоят слишком близко одна к другой, – добавил смотритель больницы.
  - Да, я это тоже заметил.
  - Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.
  - Да, и мне показалось, что это так.
  - И знаете ли, когда выпадает солнечный день, садик далеко не вмещает всех выздоравливающих.
  - И я подумал об этом.
  - Во время эпидемий – в нынешнем году это был тиф, а два года тому назад горячка – у нас иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.
  - Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.
  - Ничего не поделаешь, монсеньор, – сказал смотритель, – приходится мириться.
- Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи. С минуту епископ хранил молчание.



– Сударь, – спросил он вдруг смотрителя больницы, – сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

– В столовой вашего высокопреосвященства? – с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

– Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, – сказал он как бы про себя. – Послушайте, господин смотритель, я вот что хочу сказать, – продолжал он громче. – Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же – хозяева вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

Господин Мириэль не имел состояния, так как семья его была разорена во время революции. Его сестра пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ г-н Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, определил расходование этой суммы следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

### ***Смета распределения моих домашних расходов***

*На малую семинарию – тысяча пятьсот ливров*  
*Миссионерской конгрегации – сто ливров*  
*На лазаристов в Мондидье – сто ливров*  
*Семинарии иностранных духовных миссий в Париже – двести ливров*  
*Конгрегации св. Духа – сто пятьдесят ливров*  
*Духовным заведениям Святой Земли – сто ливров*  
*Обществам призрения сирот – триста ливров*  
*Сверх того, тем же обществам в Арле – пятьдесят ливров*  
*Благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем –*  
*четыреста ливров*  
*Благотворительному обществу вспомоществования и освобождения*  
*заключенных – пятьсот ливров*  
*На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств – тысяча ливров*  
*На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии –*  
*две тысячи ливров*  
*На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп – сто*  
*ливров*  
*Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное*  
*обучение девочек из бедных семей – тысяча пятьсот ливров*  
*На бедных – шесть тысяч ливров*  
*На мои личные расходы – тысяча ливров*  
***Итого – пятнадцать тысяч ливров.***

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как мы видим, он называл ее «сметой распределения своих домашних расходов».

Мадмуазель Батистина приняла такое распределение средств с полной покорностью. Для этой святой девушки диньский епископ являлся одновременно и братом и пастырем; дру-

гом – по закону кровного родства и наставником – по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала без возражений; когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, г-жа Маглуар, потихоньку ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией м-ль Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старые женщины и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии г-жи Маглуар и умелому хозяйничанью м-ль Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды – это было месяца через три после прибытия в Динь – он сказал:

– А все-таки я очень стеснен в средствах!

– Еще бы! – вскричала г-жа Маглуар. – Ведь ваше преосвященство не требовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.

– А ведь и в самом деле! – сказал епископ. – Госпожа Маглуар, вы совершенно правы.

И он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование г-ну епископу на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это произвело большой шум среди местной буржуазии, и один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал по этому случаю министру вероисповеданий, г-ну Бигу де Преаме, конфиденциальную, исполненную раздражения записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато-Арну и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Все эти священники на один лад – жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает так же, как остальные. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох, уж эти мне попы! Поверьте, господин граф, до тех пор пока император не освободит нас от всех этих долгополых, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Что до меня, я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д. и т. д.».

Зато эти деньги очень обрадовали г-жу Маглуар.

– Вот и хорошо, – сказала она Батистине. – Его высокопреосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас самих. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

### ***Сумма на содержание экипажа и на разъезды***

*На мясной бульон для лазаретных больных – тысяча пятьсот ливров*

*На общество призрения сирот в Эксе – двести пятьдесят ливров*

*На общество призрения сирот в Драгиньяне – двести пятьдесят ливров*

*На подкидышей – пятьсот ливров*

*На сирот – пятьсот ливров*

***Итого – три тысячи ливров.***

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов – с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний и т. д., – то епископ с тем большим рвением взимал деньги с богатых, что целиком отдавал их бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие – все стучались в двери г-на Мириэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и касиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, – так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И тогда он грабил самого себя.

Согласно обычаю, епископы всегда проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»<sup>1</sup>. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, – говаривал он. – Бьенвеню служит поправкой к «монсеньору».

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем только одно – он правдив.

## **Глава 3**

### **Доброму епископу трудная епархия**

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять церквей, подчиненных его преосвященству. Объехать все это – нелегкое дело. Но епископ преодолевал все трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке – если предстояло ехать по равнине, и верхом – в горы. Обе старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как монсеньор слезает с осла. Несколько горожан вокруг пересмеивались. «Господин мэр и вы, господа горожане, – сказал епископ, – мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я сделал это по необходимости, а вовсе не из тщеславия».

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами для подражания он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где

---

<sup>1</sup> Бьенвеню (bienvenu) – желанный; желанный гость (фр.).

не сочувствовали беднякам, он говорил: «Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели всем остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые разрушаются. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства».

В деревнях, где все падки до наживы и стремятся поскорее убрать с поля собственный урожай, он говорил: «Посмотрите на жителей Амбрена. Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболит во время жатвы и не может работать, то священник упоминает о нем в своей проповеди и в воскресенье после обедни все поселяне – мужчины, женщины, дети – идут на поле этого бедняка, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар». Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил: «Посмотрите на горцев Девольни, этой дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей». В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил: «Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку». В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылаясь на кейрасцев. «Знаете, как они поступают? – говорил он. – Маленькое селенье в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают нескольких наставников, которые и учат, переходя из деревни в деревню и проводя недельку в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, – два пера; те, которые обучают грамоте, счету и латыни, – три пера. Эти последние – великие ученые. Ну, не стыдно ли оставаться невеждами! Поступайте же, как кейрасцы».

Таковы были его речи, серьезные и отечески-заботливые; если не хватало ему примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, – этой особенностью отличалось и красноречие самого Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительное.

## Глава 4

### Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старушек, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.

Госпожа Маглуар любила называть его «ваше высокопреподобие». Однажды, поднявшись с кресла, он подошел к книжному шкафу за какой-то книгой. А стояла она на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее. «Госпожа Маглуар, – сказал он, – принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки».

Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых и, по всей вероятности, близких к смерти родственников по восходящей линии, прямыми наследниками которых являлись ее сыновья. Младшему предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно

епископ молча слушал это простодушное и вполне простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда г-жа де Ло без конца повторяла подробности всех этих наследств и всех этих «надежд», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады: «Ах, бог мой! Да о чем вы задумались, кузен?» – «Я думаю, – ответил епископ, – об одной странной вещи, прочитанной мною, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении одного местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только титулы покойного, но и все ленные и аристократические звания его родных, епископ вскричал: «Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они использовать для своего тщеславия даже могилу!»

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречивым. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил полным блаженства и очарования. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, немножко ростовщик по имени г-н Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После этой проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает свой акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре: «Посмотри, вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного».

Когда дело касалось милостыни, епископа не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерянцем – подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо. «Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз». Маркиз оглянулся и сухо возразил: «Монсеньор, у меня есть свои бедные». – «Так отдайте их мне», – сказал епископ.

Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

«Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои, во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восьмьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями – дверью и окном и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие – дверь. Причиной этому является вещь, называемая налогом на двери и окна. Поселите-ка в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей – вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у них нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные древесной смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!»

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп или Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ ко всем сердцам. В хижинах и в горах он был как у себя дома. О самых возвышенных

вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.

Он никого не осуждал поспешно, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил: «Проследим путь, по которому прошел грех».

«Бывший грешник», как он с улыбкой называл себя сам, он не впадал в крайности ригоризма и вполне открыто, не хмурая бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей только в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но, совершенный таким образом, грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым – исключение; быть справедливым – правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить – вот закон для человека. Совсем не грешить – это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда по какому-нибудь случаю все начинали громко кричать и спешили высказать свое возмущение, он говорил, улыбаясь: «Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, в котором повинен каждый. Вот почему те, у кого рыльце в пуху, испугались и так торопятся отвести от себя подозрение».

Он был снисходителен к женщинам и беднякам, на которых лежит тяжкий гнет человеческого общества. Он говорил: «В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые».

Он говорил также: «Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что не дает бесплатного обучения; оно ответственно за темноту, которую насаждает. Когда душа исполнена мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто создает мрак».

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о различных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.

Как-то он услышал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре должен был состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный, из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму, но улики имелись только против нее самой. Она одна могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову такая мысль: он оклеветал любовника, обвинив в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Тогда, обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии, и каждый восхищался ловкостью прокурора. Пустив в ход ревность, он из гнева извлек истину, а из мести – правосудие. Епископ слушал молча. Потом он спросил:

– Где будут судить этого мужчину и эту женщину?

– В суде присяжных.

– А где будут судить королевского прокурора? – снова спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не слишком образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и общественным писцом. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы сказал следующее: «Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя такую обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место». Его ответ был передан епископу, и тот сказал: «Господин кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне».

Он немедленно отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти собственную душу. Он рассказал ему о величайших истинах, а они-то и являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, – епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И стоя, трепещущий, у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспреданно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, такой угрюмый и подавленный еще накануне, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его прониклась миром, и уповал на бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему: «Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там». Когда он спустился с эшафота, в его взгляде светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало – бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре: «Я только что отслужил торжественную панихиду».

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали: «Это желание порисоваться». Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

Что до епископа, то зрелище гильотины явилось для него ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее – потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить, против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинаят ее. Гильотина – это стукот закона, имя ее *vindicta*<sup>2</sup>, она не нейтральна и не позволяет вам оставаться нейтральным. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот – это виденье. Эшафот не помост,

---

<sup>2</sup> Наказание (лат.).

эшафот – не машина, эшафот – не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее неведомой зловещей инициативой: можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают собственной волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот – это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его мясо, пьет его кровь. Эшафот – это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который обычно испытывал такое радостное удовлетворение, выполнив любую свою обязанность, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра: «Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?»

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Епископа Мириэля можно было в любое время дня и ночи позвать к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он умел целыми часами просиживать молча рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, а, напротив, старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил: «Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах – то душа вашего дорогого усопшего». Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, обратившую взгляд на могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.

## **Глава 5**

### **О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны**

Домашняя жизнь г-на Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил диньский епископ, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.

Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедни он завтракал ржаным хлебом, запивая его молоком от своих коров. Потом он работал.

Епископ – очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии, обычно это каноник, и почти каждый день – своих старших викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые вороха духовной литературы – молитвенники, епархиальные катехизисы, часословы и т. д. и т. д.,



писать пастырские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и мэров, вести клерикальную корреспонденцию, административную корреспонденцию: с одной стороны – государство, с другой – папский престол; словом, у него тысяча дел.

Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, что оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и другой работы у него было одно название – «садовничать». «Ум – это сад», – говорил он.

В полдень, если погода была хороша, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, причем часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.

Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.

Время от времени он останавливался, беседовал с маленькими мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных; когда деньги иссякали, он посещал богатых.

Так как он подолгу носил свои сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без фиолетовой ватной мантии. Летом это несколько тяготило его.

По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.

Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а г-жа Маглуар прислуживала им за столом. Ничто не могло быть умереннее этих трапез. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, г-жа Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Каждый священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из одних только овощей, отваренных в воде, и супа на постном масле. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монах».

После ужина он с полчаса беседовал с м-ль Батистиной и г-жой Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на отдельных листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек образованный и даже до известной степени ученый. После него осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них рассуждение на стих из Книги Бытия: «Вначале дух Божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами – с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры Господни»; со словами Иосифа Флавия: «Горный ветер устремился на землю» – и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от Бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он подвергает разбору богословские труды Гюго, епископа Птолемаидского, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что различные небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.

Иногда посреди чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого он неизменно писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к самой книге, в которую они были вписаны. Вот перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: «Переписка лорда Жермена с генералами Клинтон и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев».

Вот эта заметка:

«О ты, Сущий!

Экклезиаст именует тебя Всемогущим, книга Маккавеев – Творцом, Послание к ефесянам – Свободой, Барух – Необъятностью, Псалмы – Мудростью и Истиной, Иоанн – Светом, Книга царств – Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит – Святостью, Ездра – Справедливостью, вселенная – Богом, человек – Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».

Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался один в нижнем этаже.

Здесь необходимо будет дать точное представление о жилище диньского епископа.

## **Глава 6**

### **Кому он поручил охранять свой дом**

Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный, три комнаты внизу, три комнаты наверху, под крышей – чердак. За домом – сад в четверть арпана. Женщины помещались во втором этаже, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой отворялась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая – спальней, а третья – молельней. Выйти из этой молельни можно было только через спальню, а из спальни – только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял деревенским кюре, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов.

Бывшая больничная аптека – небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад, – превратилась в кухню и в кладовую.

Кроме того, в саду имелся хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали эти коровы, епископ неизменно каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», – говорил он.

Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе маленькую комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».

Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой не было никакой мебели, за исключением простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой сверх того стоял старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, приличествующим образом покрытый белыми салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.

Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни монсеньора; он всякий раз брал деньги и раздавал их бедным. «Лучший алтарь, – говорил он, – это душа несчастного, который утешился и благодарит бога».

В молельне стояли две соломенные скамейки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей – префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамейки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.

Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек, тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.

В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье наполовину искрошилась, да и держался он всего лишь на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у м-ль Батистины было, правда, громадное деревянное

кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтой, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой; на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.

Когда-то м-ль Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести гостиную мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков, и, увидев, что за пять лет ей удалось отложить для этой цели только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклянная дверь, выходящая в сад; напротив двери – кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, – изящные туалетные принадлежности, говорящие о не забытых до сих пор привычках прежнего светского человека; еще две двери: одна возле камина – в молельню, другая возле книжного шкафа – в столовую; книжный шкаф со стеклянными дверцами, полный книг; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор и, как правило, холодный; в камине две железные подставки для дров, украшенные на переднем конце двумя вазочками в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром, и служившие образчиком роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертом бархате, – распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облезшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом соломенное кресло. Перед кроватью скамеечка из молельни.

На стене, по обе стороны от кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, сделанные золотыми буквами на тусклом фоне полотна, гласили о том, что портреты изображают: один – аббата Шалио, епископа Сен-Клодского, а другой – аббата Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанского, принадлежащего к монашескому ордену Цистерцианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их на прежнем месте. Это были священники и, по всей вероятности, жертвователи – два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил – первого епископом, а второго викарием – в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда г-жа Маглуар сняла портреты, чтобы оттереть с них пыль, епископ обнаружил это обстоятельство, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.

На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи занавесь, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую, г-жа Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов имел форму креста. Епископ часто показывал на него.

– Как хорошо это получилось! – говорил он.

Все без исключения комнаты в доме, и в первом этаже и во втором, были выбелены, как это принято в казармах и больницах.

Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, г-жа Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате м-ль Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался двумя женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ. «Это ничего не отнимает у бедных», – говаривал он.

Следует, однако, признаться, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщовой скатерти всякий день радовал взор г-жи Маглуар. И так как мы изображаем здесь

диньского епископа таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил: «Мне было бы не так-то легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой».

Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, г-жа Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.

Там же, в спальне епископа, над изголовьем его кровати висел маленький стенной шкафчик, куда г-жа Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Надо заметить, что ключ от шкафчика всегда оставался в замке.

Сад, вид которого несколько портили неприглядные строения, о которых говорилось выше, состоял из четырех аллей, расходившихся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех г-жа Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы. В саду там и сям росло несколько фруктовых деревьев. Как-то раз г-жа Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства: «Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки». – «Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, – ответил епископ. – Прекрасное столь же полезно, как и полезное». И добавил, помолчав: «Быть может, еще полезнее».

Этот квадрат земли, разбитый на три или четыре грядки, пожалуй, не меньше занимал епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час или два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и сажая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем этого мог бы пожелать настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он вовсе не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался за Жюсье против Линнея. Он не изучал растения, а просто любил цветы. Он глубоко уважал ученых, но еще более уважал ничего не ведающих, и, не переставая отдавать дань уважения тем и другим, он каждый летний вечер поливал свои грядки из зеленой жестяной лейки.

В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходящая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ сразу же приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Всякий прохожий в любой час суток мог открыть дверь – стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта вечно отпертая дверь сильно тревожила обеих женщин, но диньский епископ сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите». В конце концов они заразились его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что это так. Только на г-жу Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысль: «Вот в чем едва уловимое различие: дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда открыта».

На другой книге, озаглавленной «Философия медицинской науки», он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть мои больные: во-первых, те, которых они называют своими больными, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».

Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, о его имени. В приюте особенно нуждается тот, кого это имя стесняет».

Однажды какой-то достойный кюре – я уже не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьеры – вздумал, должно быть по наущению г-жи Маглуар, спросить у монсе-

ньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кому бы вздумалось войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: «*Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt eam*»<sup>3</sup>. Затем заговорил о другом.

Он охотно повторял: «Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, – добавлял он, – должно быть спокойным».

## Глава 7

### Крават

Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был диньский епископ.

После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который совершенно разорил Олиульские ущелья, один из ближайших его помощников, Крават, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами – остатками шайки Гаспара Бэ – в Ниццском графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-де-л'Эгль и оттуда, ложбинами рек Ибайи и Ибайеты, нередко пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и ободрал ризницу. Его грабежи разоряли весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он всегда ускользал от них, а иногда оказывал открытое сопротивление. Этот негодяй был смельчаком. И вот в самый разгар вызванной им паники в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шательярский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться назад. Крават хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем – это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.

– Поэтому-то, – сказал епископ, – я и полагаю ехать без конвоя.

– Хорошо ли вы обдумали это, монсеньор? – вскричал мэр.

– Настолько хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.

– Уедете?

– Уеду.

– Один?

– Один.

– О нет, монсеньор! Вы этого не сделаете.

– Послушайте, – сказал епископ, – там, в горах, есть маленький бедный приход, я не видел его уже три года. Там живут мои добрые друзья – смиренные и честные пастухи. Из каждой тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти очень красивые разноцветные шнурки и играют горные песни на маленьких свирелях с шестью отверстиями. Они нуждаются в том, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который всего боится? Что бы они сказали, если бы я не посетил их?

– Но разбойники, монсеньор, разбойники!

– В самом деле, – сказал епископ, – я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, и они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о господе боге.

– Монсеньор, да ведь их целая шайка! Это стая волков!

– Господин мэр, а может быть, Иисус повелевает мне стать пастырем именно этого стада. Пути господни неисповедимы!

---

<sup>3</sup> Если Господь не охраняет дом, тщетно сторожат охраняющие его (лат.).

- Монсеньор, они ограбят вас.
- У меня ничего нет.
- Они убьют вас.
- Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полно!

Зачем им это?

- О боже! Что, если вы повстречаетесь с ними!
- Я попрошу у них милостыню для моих бедных.
- Не ездите, монсеньор, ради бога! Вы рискуете жизнью.
- Господин мэр, – сказал епископ, – неужели в этом все дело? Я для того живу на свете, чтобы о душах людских печись, а не о собственной жизни.

Пришлось оставить его в покое. Он уехал, сопровождаемый лишь мальчиком, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шума и вызвало сильное беспокойство во всей округе.

Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни г-жу Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здоров и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую деревенскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертой шелковой материи, обшитыми потускневшим галуном.

– Ничего, господин кюре, – сказал епископ, – объявим все-таки с кафедры о нашей мессе. Дело как-нибудь уладится.

Начались поиски в соседних церквях. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы приличествующим образом одеть даже соборного певчего.

Среди всех этих хлопот в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника, которые немедленно ускакали. Ящик открыли; в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох – все епископское облачение, украденное месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором были написаны следующие слова: «Монсеньору Бьенвеню от Кравата».

– Я ведь говорил, что все уладится! – сказал епископ. И добавил, улыбаясь: – Тому, кто довольствуется простым священническим стихарем, бог посылает архиепископскую мантию.

– Не знаю, монсеньор, – покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, – бог или дьявол.

Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:

– Бог.

На обратном пути в Шателяр и в самом Шателяре люди сбегались со всех сторон, любопытствуя посмотреть на своего епископа. М-ль Батистина с г-жой Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре: «Ну что, разве я не был прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора».

Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал: «Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки – вот истинные вору; пороки – вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли заботиться о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку! Будем думать лишь о том, что угрожает нашей душе». Потом, обратившись к сестре, он сказал: «Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозво-

лено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал в грех из-за нас».

Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны; вообще же жизнь его текла однообразно: изо дня в день в определенное время он делал то же, что накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.

Что касается сокровищ Амбренского собора, мы затруднились бы ответить на вопрос о том, что с ними случилось. Это были весьма красивые, весьма соблазнительные вещи, весьма пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена одна заметка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу; она гласит: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено – в собор или в больницу».

## Глава 8

### Философия за стаканом вина

Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с какими-либо препятствиями вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шагал прямо к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспевания и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек отнюдь не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший всякие мелкие услуги своим сыновьям, зятям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся не более как детищем Пиго-Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «бреднями простака епископа». Самоуверенно и снисходительно он иногда шутил над этим даже в присутствии самого г-на Мириэля.

Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу\*\*\* (тому самому сенатору) и г-ну Мириэлю случилось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, бывший слегка навеселе, но не утративший важной своей осанки, вдруг вскричал:

– Черт возьми, господин епископ, давайте поболтаем! Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами – два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.

– И вы правы, – ответил епископ. – Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покоетесь на пурпурном ложе, господин сенатор.

Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:

– Давайте говорить откровенно.

– И даже чертовски откровенно, – согласился епископ.

– Заявляю вам, – продолжал сенатор, – что маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.

– Они похожи на вас, господин граф, – прервал его епископ.

– Я ненавижу Дидро, – продолжал сенатор. – Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога, и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер вышутил Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет *fiat lux*<sup>4</sup>. Представьте каплю покрупнее, а ложку побольше – и перед вами мир.

---

<sup>4</sup> Да будет свет (лат.).

Человек – это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог отец? Знаете что, господин епископ, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой это великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, господин епископ, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравого смысла. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся же высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа твоего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь – это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, внизу, – словом, где-то, – не верю ни на йоту. Ах, так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над *fas* и *nefas*<sup>5</sup>. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти – лови меня, кто может! Заставьте-ка тень схватить рукою горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изида, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, черт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Что касается меня, я твердо стою на земле, господин епископ. Бессмертие человека – это еще вилами на воде писано. Ох уж мне все эти прекрасные обещания! Положитесь на них, как же! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы – душа, потом станете ангелом, голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, – кажется, Тертуллиан? – что блаженные будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных кузнециков. А потом узрят господа. Та-та-та – чепуха все эти царствия небесные. А бог – чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в «Мониторе», но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? *Inter rosula*<sup>6</sup>. Пожертвовать землей ради рая – это все равно что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурачить себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я – ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет. Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда, настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда, насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в эту бездонную дыру. Конец. *Finis*! Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне – смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать, да это просто смешно. Бабушкины сказки. Бука – для детей, Иегова – для взрослых. Нет, наше завтра – это мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем – все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, наперекор всему живите. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Говорю вам, господин епископ, у меня и в самом деле своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить ребяческой болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот

<sup>5</sup> Правда и неправда (*лат.*).

<sup>6</sup> За стаканом вина (*лат.*).



легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они жуют все это. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть господь бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.

Епископ захлопал в ладоши.

– Отлично сказано! – вскричал он. – Какая великолепная штука – этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь; тот не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этим превосходным материализмом, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что они могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным; могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, и потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей философией, изысканной, утонченной, доступной одним только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем жизненным радостям. Эта философия извлечена из неведомых глубин, она вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы – добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога оставалась философией народа, – так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

## Глава 9 Сестра о брате

Чтобы дать представление о жизни диньского епископа в семейном кругу и о том, как обе благочестивые старушки подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего будет привести здесь письмо м-ль Батистины к виконтессе де Буашеврон, подруге ее детства. Мы располагаем этим письмом.

*«Динь, 16 декабря 18...»*

*Моя дорогая, не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что госпожа Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Госпожа Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного. В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, – она пятнадцати футов высотой, а величиной около восемнадцати квадратных футов, – потолок покрыт, по старинной моде, живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но что всего интереснее – это моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев госпожа Маглуар обнаружила картины – хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах – забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (тут какое-то слово, которое нельзя разобрать) и тому подобное. Госпожа Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения,*

снова все покроеет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два маленьких деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых эцю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, и мне больше хотелось бы иметь круглый стол красного дерева.

Я по-прежнему вполне счастлива. Мой брат так добр. Он отдает все, что у него есть, нищим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, и необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. У нас же почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не так ли?

У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, – так он говорит.

Он не хочет, чтобы я или госпожа Маглуар боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.

Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.

В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять с собой. Целых две недели он пробыл в отсуствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здоров и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» – сказал он. И открыл чемодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской Богоматери, которые ему подарили грабители.

На этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услышал кто-нибудь из посторонних.

В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это ужасный человек». Теперь я наконец привыкла. Я знаками показываю госпоже Маглуар, чтобы она не прекословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу госпожу Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что, если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к господу богу вместе с моим братом и моим епископом. Госпоже Маглуар было труднее, чем мне, привыкнуть к тому, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все уже вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха и потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а господь бог обитает здесь постоянно.

Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю providения.

Так надо держать себя с человеком, который велик духом.

Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы спрашивались. Вам известно, как он все знает и как много помнит – ведь он по-прежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское

*семейство из Каннского округа. Уже пятьсот лет тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роду, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь, Мария-Луиза, была замужем за Адриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: Faux, Faug и Faoucq.*

*Моя дорогая, попросите вашего достойного родственника, господина кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и по-прежнему меня любит. Большие мне ничего и не нужно. Она прислала мне поклон через вас, и я счастлива этим. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я с каждым днем все больше худею. Прощайте, бумаги у меня больше нет, поэтому я вынуждена расстаться с вами. Тысячу добрых пожеланий. Батистина.*

*Р. S. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Этот ребенок так мил! А его младший братишка таскает по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: «Н-но!»*

Как явствует из письма, обе старушки хорошо применились к привычкам епископа – это свойственно лишь женщинам, которые понимают мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Сохраняя неизменно свой кроткий и простодушный вид, диньский епископ совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины трепетали, но не вмешивались. Изредка г-жа Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но никогда во время совершения его или после. Если дело было начато, никто никогда не мешал ему даже жестом. В иные минуты – ему не приходилось об этом говорить им, а может быть, он и сам этого не сознавал, до того совершенна была его скромность – обе женщины смутно понимали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли; и если повиноваться значило исчезнуть – они исчезали. С изумительной тонкостью инстинкта они чувствовали, что порой заботливость может только стеснять. Поэтому даже тогда, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его, то в самую сущность его натуры, что переставали опекать его и поручали это богу.

Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной. г-жа Маглуар не говорила этого, но она это знала.

## Глава 10

### Епископ перед неведомым светом

Спустя некоторое время после того, как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, по мнению всего города, еще более безрассудный, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.

Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот – произнесем сразу это страшное слово – был когда-то членом Конвента. Его звали Ж.

В тесном мире жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. «Вообразите только – члены Конвента! Они существовали в те времена, когда люди говорили друг другу «ты» и «гражданин»! Этот человек был почти чудовищем. Он не голосовал

за смерть короля, но был близок к этому. Чуть не цареубийца. Он был страшен. Каким образом по возвращении законных государей этого человека не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову – надо все же проявлять милосердие, – но пожизненная ссылка ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! И т. д. и т. д. Тем более что он безбожник, как и все эти люди...» Пересуды гусей о ястребе.

Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой суровости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.

Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.

Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где группа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Конвента, думал: «Там есть душа, которая одинока».

И внутренний голос говорил ему: «Ты должен навестить этого человека».

Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти отталкивающей. Ибо, в сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».

Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце рознь!

Добрый епископ был в сильном затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.

Но вот однажды в городе распространился слух, что маленький пастух, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» – добавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел мантию – потому что его сутана, как мы уже говорили, была чересчур изношена, а также и потому, что по вечерам обычно поднимался холодный ветер, – и отправился в путь.

Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед и вдруг, в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, он увидел логовище зверя.

Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.

Перед дверью в старом кресле на колесиках, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.

Возле старика стоял мальчик-подросток, юный пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком.

Епископ молча смотрел на эту сцену. В эту минуту старик заговорил. «Благодарю, – сказал он, – больше мне ничего не нужно». И, оторвавшись от солнца, его улыбающийся взгляд остановился на ребенке.

Епископ подошел ближе. Услышав шум шагов, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.

– За все время, что я здесь, – сказал он, – ко мне приходят впервые. Кто вы, сударь?

Епископ ответил:

– Меня зовут Бьенвеню Мириэль.

– Бьенвеню Мириэль. Мне приходилось слышать это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

– Да, меня.

Слегка улыбаясь, старик продолжал:

– В таком случае вы мой епископ.

– До некоторой степени.

– Милости просим.

Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Епископ сказал только:

– Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.

– Сударь, – ответил старик, – я скоро буду здоров. – Помолчав немного, он добавил: – Через три часа я умру. – И продолжал: – Я немного врач и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я чувствую это; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня несколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего человека. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь – простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд. – Старик обернулся к пастушку: – Иди ложись. Ты просидел возле меня всю прошлую ночь. Ты устал.

Мальчик ушел в хижину.

Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:

– Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть – добрые соседи.

Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В этом расставании с жизнью он как-то не ощущал присутствия бога. Скажем прямо – ибо и маленькие противоречия великих сердец должны быть отмечены так же точно, как все остальное, – епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреподобием», был слегка задет тем, что здесь его не называли «монсеньором», и ему почти хотелось ответить на это обращением «гражданин». Он почувствовал себя склонным к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но самому ему совсем не свойственной. В конце концов, этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.

Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.

Епископ же, который обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем упреки совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом вне закона и даже вне закона милосердия.

Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, принадлежал к числу тех восьмидесятилетних старцев, которые возбуждают удивление у физиологов. Революция видела немало людей, созданных по образу и подобию своей эпохи.

В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Столь близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство и самую смерть. Магометанский ангел смерти Азраил повернул бы перед ним вспять, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его предсмертной агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. От них начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей жизненной мощью и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.

Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было *ex abrupto*<sup>7</sup>.

– Я рад за вас, – сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. – Вы все же не голосовали за смерть короля.

Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же. Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:

– Не слишком радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.

Этот суровый тон явился ответом на тон строгий.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил епископ.

– Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран – невежество. Вот за конец этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой ложь, тогда как знание – это власть, источник которой истина. Управлять человеком может одно лишь знание.

– И совесть, – добавил епископ.

– Это одно и то же. Совесть – это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы.

Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него.

Член Конвента продолжал:

– Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение проституции женщины, за уничтожение рабства мужчины, за уничтожение невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившийся на человеческий род, превратился в чашу радости.

– Радости замутненной, – сказал епископ.

– Вы могли бы сказать – радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которого тысяча восемьсот четырнадцатый год, – радости исчезнувшей. Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый строй в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.

– Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

– У справедливости тоже есть свой гнев, господин епископ, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, но Французская революция – это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенное – пусть так, – но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила, просветила; она пролила

---

<sup>7</sup> Внезапно, без предисловий (*лат.*).

на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция – это помазание на царство самой человечности.

Епископ не мог удержаться и прошептал:

– Да? А девяносто третий год?

С почти зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

– А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгустились в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они наконец разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:

– Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но более высоким. Удару грома не подобает ошибаться. – И, в упор глядя на члена Конвента, он добавил: – А Людовик Семнадцатый?

Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.

– Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинный ребенок, которого повесили на Гревской площади и который висел там, охваченный веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, ребенок, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, – не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого – другой невинный ребенок, заточенный в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.

– Сударь, – прервал его епископ, – мне не нравится сопоставление этих имен.

– Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступиться?

Наступило молчание. Епископ почти сожалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.

– Ах, господин священник, – продолжал член Конвента, – вы не любите грубой правды. А ведь Христос любил ее. Он брал плеть и выгонял мытарей из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал «*Sinite parvulos*»<sup>8</sup>, то он не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.

– Это правда, – тихо проговорил епископ.

– Я настаиваю на своей мысли, – продолжал член Конвента. – Вы назвали имя Людовика Семнадцатого. Давайте же договоримся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей – и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к более ранним временам, чем девяносто третий год, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.

– Я оплакиваю всех, – сказал епископ.

– В равной мере! – вскричал Ж. – Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.

Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем – машинальный жест, присущий человеку, когда он вопрошает и когда он судит, – впери в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.

---

<sup>8</sup> Пустите детей (*лат.*).

– Да, сударь, народ страдает давно... Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли спрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана, который помогает мне. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ – этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал шума колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там, за рощей, у поворота дороги. Говорю вам – я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Итак, я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербоносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия – это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы – один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалившись в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни – вы обладаете ими, как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не говорит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне мудрость. С кем я говорю? Кто вы?

Епископ опустил голову и ответил:

– Vermis sum<sup>9</sup>.

– Земляной червь, разъезжающий в карете! – проворчал член Конвента.

Роли переменились: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.

– Пусть будет так, сударь, – кротко сказал он. – Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание – не добродетель, что милосердие – не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?

Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.

– Прежде чем вам ответить, – сказал он, – я прошу вас извинить меня... Я, сударь, виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть учтивым. Вы оспариваете мои взгляды, я должен ограничиться возражением на ваши доводы. Ваши богатства и жизненные наслаждения – это мои преимущества против вас в нашем споре, но было бы приличнее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.

– Благодарю вас, – ответил епископ.

– Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, – продолжал Ж. – На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?

– Да, безжалостен, – подтвердил епископ. – Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?

– А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем «Te Deum»<sup>10</sup> по поводу драгонад?

Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул; он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.

---

<sup>9</sup> Я червь (лат.).

<sup>10</sup> «Тебе бога хвалим» (лат.) – католическая молитва.



Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:

– Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год – увы! – покажется ее опровержением. Вы, сударь, считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье – это разбойник, но как вы назовете Монревеля? Фукье-Тенвиль – негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Мальяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет подобрали бы вы для отца Летелье? Журдан-Головорез чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Лувуа. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали от нее на расстоянии. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрылся от крика. А палач говорил женщине – матери и кормилице: «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Танталя, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Лучший мир – вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю, у меня на руках слишком хорошие карты. К тому же – я умираю.

И, отведя взор от епископа, член Конвента закончил свою мысль несколькими спокойными словами:

– Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед.

Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех его внутренних позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:

– Прогресс должен верить в бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист плохой руководитель человечества.

Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной небесной глубины:

– О ты! О идеал! Ты один существуешь!

Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.

Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:

– Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечно и есть бог.

Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые еще оставались ему. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.

Епископ понял это, мешкать далее было нельзя; ведь он пришел сюда как священник. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.

– Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы прискорбно, если б наша встреча оказалась напрасной?

Член Конвента открыл глаза. Какая-то суровая, как бы подернутая тенью важность лежала теперь на его лице.

– Господин епископ, – сказал он с медлительностью, которая, быть может, проистекала не столько от упадка физических сил, сколько от чувства внутреннего достоинства, – я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления – и боролся с ними. Я видел тиранию – и уничтожал ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну – и я защищал ее; Франции угрожала опасность – и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, – а я обедал за двадцать су на улице Арбр-Сэк. Я поддерживал угнетенных и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда помогал шествию человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Случалось и так, что я оказывал помощь вам, своим противникам. Во Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство Святой Клары в Болье, – в 1793 году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро, где только мог. После чего меня стали гнать, преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Вот уже сколько лет, как я, несмотря на свои седины, чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я – проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, сам ни к кому ее не питаю. Теперь мне восемьдесят шесть лет; я умираю. Чего вы от меня хотите?

– Вашего благословения, – сказал епископ.

И опустился на колени.

Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался.

Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С этой поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились.

Малейшее упоминание об «этом старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.

Само собой разумеется, что это «пастырское посещение» доставило повод для воркотни местным любителям сплетен. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? – говорили они. – Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры – закоренелые еретики. Так зачем ему было ходить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».

Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, которые мнят себя остроумными, позволила себе следующую выходку. «Монсеньор, – сказала она епископу, – все спрашивают, когда вашему преосвященству будет пожалован красный колпак».

«О! Это грубый цвет, – ответил епископ. – Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шляпе».

## Глава 11

### Оговорка

Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе чувство какого-то недоумения, придавшее еще большую кротость его характеру. И это все.

Хотя монсеньор Бьенвеню менее всего был человеком политики, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к событиям того времени, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-либо отношение.

Итак, вернемся на несколько лет назад.

Немного времени спустя после возведения г-на Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю г-н Мириэль был приглашен Наполеоном в синод епископов Франции и Италии, созданный в Париже. Синод этот заседал в соборе Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и г-н Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии и человек, привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он отвечал: «Я им мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я показался им чем-то вроде распахнутой настежь двери».

В другой раз он сказал: «Что же тут удивительного? Все эти высокопреподобия – князья церкви, а я – всего только бедный деревенский епископ».

Дело в том, что он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, и как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих коллег, у него вырвались между прочим такие слова: «Какие прекрасные часы! Какие прекрасные ковры! Какие прекрасные ливреи! Все это должно сильно докучать! Нет, я бы ни за что не хотел обладать таким избытком роскоши. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно! Есть бедняки! Есть бедняки!»

Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши – это ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о парадных службах и празднествах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник – это бессмыслица, место священника должно быть подле бедняков. Но возможно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякой нуждой, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запыхавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который находился бы у пылающего костра и не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе человека, который постоянно работал бы у раскаленной печи и не имел ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, – это его бедность.

По-видимому, именно так думал и диньский епископ.

Впрочем, не следует предполагать, чтобы в отношении некоторых щекотливых пунктов он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри того времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него достаточное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что г-н Мириэль выказал ледяную холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот проезжал через Динь, возвращаясь с острова Эльбы, и не отдал приказа по епархии о служении в церквях молебнов за здоровье императора во время Ста дней.

Кроме сестры, м-ль Батистины, у него было два брата: один – генерал, другой – префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладил к первому за то, что, командуя войсками в Провансе и приняв начальство над отрядом в тысячу двести солдат, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал ему дать возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.

Итак, монсеньора Бьенвеню также коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, своя забота. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль – мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто: «Было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновение не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей – истины, справедливости и милосердия, ярко сияющих над бурной житейской суетой».

Признавая, что бог создал монсеньора Бьенвеню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всемогущему Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас лишь тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает обезоруживать нас. В 1813 году подлое нарушение молчания со стороны Законодательного корпуса, до той поры безмолвного и осмелевшего после ряда катастроф, не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году, при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо пятящихся назад и оплевывающих недавнего идола, мы сочли своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего смешного, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как диньский епископ, пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то вели-

чественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.

За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был – мы должны признать это – снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки.

Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на свою должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц, и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманная слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» – таково было его выражение, – чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, благодаря чему в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, – говорил он, – чем носить на сердце трех жаб!» Он охотно и во всеуслышание насмеялся над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах! Пусть он убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» – говаривал он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил и назначил на должность привратника собора.

За девять лет монсеньор Бьенвеню своими добрыми делами и кротостью снискал к себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила своего епископа.

## Глава 12

### Одиночество монсеньора Бьенвеню

Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, – вокруг каждого епископа вьется стая подчиненных аббатов. Именно этих аббатов св. Франциск Сальский в старину и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое жизненное поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власть имущего, у которого бы не было своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого бы не было своих придворных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку монсеньора. Угодить епископу – значит встать на первую ступень, ведущую к должности иподьякона. Надо же пробить себе дорогу – апостольское звание не брезгует доходным местечком.

Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, умеющие молиться – это бесспорно, – но умеющие также домогаться того, что им нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, не стесняются дожидаться в чьей-нибудь передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией – скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним! Люди с влиянием, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи

богатые приходы, доходы с церковных имуществ, места архидиаконов, попечителей и другие выгодные кафедральные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь сами, эти планеты движут вперед и своих спутников – настоящая солнечная система в движении. Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту. Со стола их благоденствия крошками сыплются на приближенных маленькие теплые местечки. Чем больше епархия покровителя, тем богаче приход фаворита. А Рим так близко. Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав, вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вот вы камерарий, вот вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет только дымок сжигаемого избирательного листка и ничего больше. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник – это единственный человек, который может законным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол державнейшего из владык! Зато каким питомником упований является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и – кто знает? – быть может, даже искренне поддаваясь самообману. Блажен, кто верует!

Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принялся». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старички, немного грубоватые, как и он сам, как и он, замуровавшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченые, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в сан священника, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Ибо люди хотят, чтобы им помогали расти, повторяем это. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, – опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще большей любовью к самопожертвованию, чем вы этого хотите; от сей чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать – вот высшая мудрость, капля за каплей падающая из тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.

Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь – успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача – это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана – история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте – такова теория! Благосостояние предполагает способности. Выиграйте в лотерее, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке – в этом вся штука! Будьте удачливы – все остальное приложится; будьте баловнем счастья – вас сочтут великим человеком. Не считая пяти или шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты хоть первым встречным – это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость – это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже-Корнель написал «Тиридата»; пусть евнуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь

военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр-и-Маас и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице, и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть управляющий торговым домом оказался по увольнению таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, – во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездобразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.

## Глава 13

### Во что он верил

Нам незачем доискиваться, был ли диньский епископ приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших.

Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Никакое тление не может коснуться алмаза. г-н Мириэль веровал до глубины души. «Credo in Patrem»<sup>11</sup>, – часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою бог!»

Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверх веры у епископа был избыток любви. Именно поэтому, *quia multum amavit*<sup>12</sup>, его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинуется педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божиему. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он бережет для животных. В диньском епископе эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Экклезиаста: «Кто знает, куда идет душа животных?» Внешнее безобразие, извращения инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого лингвиста, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виновато».

<sup>11</sup> «Верую в Бога-Отца» (лат.) – католическая молитва.

<sup>12</sup> За многолюбие (лат.).

Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.

Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.

Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей. Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем; ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования неистребимы.

В 1815 году – мы, кажется, уже упоминали об этом – епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему казалось не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан – подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».

Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестящие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Что за славный малый!» – если он молод, и «Что за добряк!» – если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добряк – и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добряк преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, казавшийся величественным благодаря увенчивавшим его сединам, становился еще величественнее благодаря запечатлевшейся на нем глубокой думе; нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Почтение, невыразимое почтение медленно охватывало вас, проникало в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, искушенных и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой.

Итак, молитва, исполнение церковных служб, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы, старушки, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там, наедине с самим собою, сосредоточенный, спокойный и благоговейный, он сравнивал ясность своего сердца с ясностью небесного эфира. Взмолнованный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие



мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может, он и сам не мог бы сказать, что совершалось в душе его; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной! Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей – чудесной тайне; о вечности минувшей – тайне, еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; и, не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые придают форму материи, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения – вечный круговорот завязок и развязок, отсюда жизнь и смерть.

Он сажился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви своих плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, вся застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.

Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклониться богу в его прекраснейших творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Маленький сад для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его то, что можно возделывать и собирать; над головой – то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле и все звезды на небе.

## Глава 14 О чем он думал

Еще несколько слов.

Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя модные сейчас выражения, внушить мысль о том, что диньский епископ в своем роде «пантеист» и что он придерживался – в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый – одной из тех субъективных, присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньора Бьенвеню, не счел бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.

Никаких теорий – и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата отверсты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изыскивают свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное ослепление. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она

как бы ослепляет самое природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, но на земле существуют люди – впрочем, люди ли это? – которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его устрешили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Диньский епископ избрал кратчайшую тропу – Евангелие.

Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила – вот и все.

Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах Священного Писания, являлась ересью, то и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.

Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному – найти самому и передать другим наилучший способ пожалеть и поддержать. Все сущее было для этого редкого по своей доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить.

Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земных золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастья мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» – говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; вот в чем и заключалось все его учение. «Послушайте, – сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом, – да взгляните же на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее – тот и умнее.

Ваше «любите друг друга» – глупость». – «Что ж, – ответил епископ, не вступая в спор, – если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и полностью удовлетворялся ею, отстраняя от себя великие вопросы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке – для апостола в боге, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преобразование через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, материю. Nil и Ens<sup>13</sup>, душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.

Монсеньор Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум, строго хранил в душе благоговение перед неведомым.

<sup>13</sup> Ничто и Сущее (*лат.*) – термины средневековой философии.

## Книга вторая Падение

### Глава 1 Вечером, после целого дня ходьбы

В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, какой-то путник вошел в городок Динь. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и плотный, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаша из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с прорехой на другом, старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым бечевкой; за спиной у путника висел туго набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты прямо на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.

Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.

Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.

Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья. Ибо он вошел в Динь той же дорогой, которою семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, как он остановился под деревьями бульвара Гасенди и пил воду из фонтана, что в конце аллеи. Вероятно, его мучила сильная жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, как шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.

Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.

В те времена в Дине имелся прекрасный постоянный двор под вывеской «Кольбасский крест». Хозяином этого постоянного двора был некто Жакен Лабар, человек, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоянный двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора в тех краях немало ходило слухов о постоянном дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет горожанам. Но достоверно одно: вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблаго-

дарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», – и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, отсвет славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренобльского».

К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех раздавались из соседней комнаты. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.

Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:

– Что вам угодно, сударь?

– Поесть и переночевать, – ответил вошедший.

– Это можно, – сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: – Разумеется, за плату.

Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.

– Деньги у меня есть, – сказал он.

– В таком случае к вашим услугам, – ответил трактирщик.

Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук своей палки, присел на низенькую скамейку перед очагом. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.

Между тем трактирщик, продолжая снова взад и вперед, внимательно разглядывал путника.

– Скоро ли обед? – спросил тот.

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на маленьком столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.

Путник ничего не заметил.

Он снова спросил:

– Скоро ли обед?

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, словно ожидавший ответа, торопливо развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем он подошел к путнику, который казался погруженным в размышления далеко не веселого свойства.

– Сударь, – сказал он, – я не могу оставить вас у себя.

Незнакомец привстал со своей скамьи.

– Как так! Вы боитесь, что я не заплачу! Хотите, я отдам плату вперед? Говорю вам – у меня есть деньги.

– Дело не в этом.

– А в чем же?

– У вас есть деньги...

- Да, – еще раз подтвердил незнакомец.
- Но у меня-то, – продолжал трактирщик, – нет свободной комнаты.
- Так устройте меня в конюшню, – спокойно возразил незнакомец.
- Не могу.
- Почему?
- Там нет места – все занято лошадьми.
- Ну что ж, – снова возразил незнакомец, – в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.
- Я не могу дать вам обеда.

Это заявление, сделанное сдержанным, но решительным тоном, заставило незнакомца насторожиться. Он встал.

– Ах, так! – вскричал он. – Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. Я хочу есть.

– У меня ничего нет, – сказал трактирщик.

Незнакомец разразился смехом и повернулся к камину и к печам.

– Ничего? А все это?

– Все это мне заказано другими.

– Кем?

– Господами извозчиками.

– Сколько же их?

– Двенадцать.

– Да тут хватит еды на двадцать человек.

– Все это они заказали для себя и уплатили вперед.

Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:

– Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.

Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:

– Уходите отсюда.

В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:

– Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя – Жан Вальжан. А теперь – сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?

С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик продолжал:

– Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.

Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.

Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на пороге своей двери и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми уличными прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тогда подозрительные, испуганные взгляды всей этой группы людей сказали бы ему, что его появление не замедлит всполошить весь город.

Но ничего этого он не видел. Те, кто удручены горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.

Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище.

Приличный трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.

Вдруг в конце улицы мелькнул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.

Это и в самом деле был кабачок – кабачок, что на улице Шафо.

На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Несколько человек сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.

В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоянным двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела в маленький дворик, заваленный навозом.

Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.

– Кто там? – спросил хозяин.

– Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.

– За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.

Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала прищельца с одной стороны, огонь очага – с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.

Кабатчик оказал:

– Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.

Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нившие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо прищельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение смутного довольства, к которому примешивался другой, скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.

Впрочем, у него был мужественный, энергичный и грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось смиренным, а под конец суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под кучи валежника.

Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д'Асс и... (забыл название – кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и сам рассказывал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал незаметный знак кабатчику. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.

Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:

– Немедленно убирайся отсюда.

Незнакомец обернулся и кротко ответил:

– Ах, так? Вы знаете?..

– Да.

– Меня прогнали из того трактира.

– А теперь тебя выгоняют из этого.

– Куда же мне деваться?

– Куда хочешь.

Путник взял свою палку, ранец и ушел.

На улице несколько мальчишек, которые провожали его от самого «Кольбасского креста» и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он с гневом повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.

Он пошел дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот висела железная цепь, прикрепленная к колоколу. Он позвонил.

Окошечко в воротах приоткрылось.

– Господин привратник, – сказал прохожий, почтительно снимая фуражку, – сделайте милость, откройте и дайте мне приют на одну ночь.

Голос ответил ему:

– Тюрьма не постоялый двор. Пусть вас арестуют, тогда откроют.

Окошечко снова захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые из них вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двустольным ружьем, висевшим на стене. Посредине комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестящий, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую миску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях маленького ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы только он один.

Вероятно, он подумал, что этот радостный дом не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания.

Он стукнул в стекло тихо и нерешительно.

Никто не услышал его.

Он стукнул еще раз.

Он услышал, как женщина сказала:

– Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучит.

– Нет, – ответил муж.

Он стукнул в третий раз.

Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.

Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник доходил ему до левого плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, откинув голову назад; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навывкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и, главное, то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.

– Извините, сударь, – сказал путник, – не могли бы вы за плату дать мне тарелку супу и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Скажите, могли бы? За плату.

– Кто вы такой? – спросил хозяин дома.

Человек ответил:

– Я иду из Пюи-Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.

– Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, – сказал крестьянин. – Но почему вы не идете на постоялый двор?

– Там нет места.

– Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. Вы были у Лабара?

– Да.

– И что же?

– Не знаю, право, но он меня не пустил, – с замешательством ответил путник.

– А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?

Замешательство незнакомца возрастало.

– Он тоже не пустил меня, – пробормотал он.

Лицо крестьянина выразило подозрение; он оглядел пришельца с ног до головы и вдруг с каким-то ужасом вскричал:

– Да уж не тот ли вы человек?

Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?» – женщина вскочила с места, схватила обоих детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя: «Воровское отродье».

Все это произошло гораздо быстрее, нежели можно себе представить. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:

– Убирайся.

– Ради бога, хоть стакан воды, – попросил путник.

– А не хочешь ли пулю в лоб? – ответил крестьянин. Затем он сильно хлопнул дверью, и путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, с шумом задвинулся поперечный железный брус.

Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через решетчатый забор и очутился в саду. Он подошел к землянке; дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие, и она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссевые рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере какое-то убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло, и он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.

Он попал в собачью конуру.

Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.

Подобным же образом выбрался он из сада, пятясь к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».

Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже этой соломенной подстилки, выгнанный из этой жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень, и говорят, что какой-то прохожий слышал, как он вскричал: «Собаке – и той лучше, чем мне!»



Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле какое-нибудь дерево, какой-нибудь стог сена, где можно было бы укрыться.

Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, почувствовав себя вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с коротко срезанным жнивьем – такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.

Горизонт был совершенно черен – и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали очень низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет.

Земля поэтому была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно злое впечатление, и однообразные, унылые очертания холма мутным сизым пятном вырисовывались на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отвратительного, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм – только одно уродливое дерево, которое, качаясь и вздрагивая под ветром, стояло в нескольких шагах от путника.

Человек этот, без сомнения, не принадлежал к числу людей утонченного духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и этот холм, эта равнина и это дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.

Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.

Было около восьми часов. Не зная улиц, он опять отправился наудачу.

Он дошел таким образом до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.

На углу этой площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.

Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

В это время какая-то старая женщина вышла из церкви. Она заметила лежащего в темноте человека.

– Что вы здесь делаете, друг мой? – спросила она.

– Разве вы не видите сами, добрая женщина? Я ложусь спать, – ответил он резко и злобно. Добрая женщина, действительно вполне достойная этого имени, была маркиза де Р.

– На этой скамье? – снова спросила она.

– Девятнадцать лет я спал на голых досках, – сказал человек, – сегодня посплю на голом камне.

– Вы служили в солдатах?

– Да, добрая женщина, в солдатах.

– Почему вы не идете на постоянный двор?

– Потому что у меня нет денег.

– Как жаль! – сказала г-жа де Р. – У меня в кошельке только четыре су.

– Все равно. Давайте.

И он взял четыре су. г-жа де Р. продолжала:

– Этих денег вам не хватит на постоянный двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.

– Я стучался во все двери.

– И что же?

– Меня гнали отовсюду.

«Добрая женщина» прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на маленький низкий домик, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.

– Вы говорите, что стучались во все двери? – еще раз спросила она.

– Да.

– А стучались вы в эту?

– Нет.

– Так постучитесь.

## Глава 2

### Мудрость, предостерегаемая благоразумием

В этот вечер, после своей обычной прогулки по городу, диньский епископ довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему «Об обязанностях», который, к сожалению, так и остался незаконченным. Он тщательно собирал все сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд распадался на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй – об обязанностях каждого отдельного человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности – суть великие обязанности. Их четыре. Святой апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (Матф., VI), обязанности по отношению к самому себе (Матф., V, 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (Матф., VII, 12), обязанности по отношению к творениям Божиим (Матф., VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах: обязанности государей и подданных – в Послании к римлянам; судей, жен, матерей и юношей – у св. Петра; мужей, отцов, детей и слуг – в Послании к ефесянам; верующих – в Послании к евреям; девственниц – в Послании к коринфянам. Все эти предписания он прилежно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.

В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на маленьких четвертушках бумаги; как всегда в это время, вошла г-жа Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.

Столовая представляла собою продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.

Госпожа Маглуар действительно кончала накрывать на стол.

Не отрываясь от дела, она разговаривала с м-ль Батистиной.

На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно сильный огонь.

Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят: г-жу Маглуар – низенькую, полную, подвижную; м-ль Батистину – кроткую, худощавую, хрупкую, немного повыше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что г-жа Маглуар была «из про-

стых», а м-ль Батистина – «из господ». г-жа Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик – единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху по углам двумя булавками, довершали ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марсея. Платье м-ль Батистины было скроено по фасону 1806 года: короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, нашивки и пугови. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка». г-жа Маглуар производила впечатление смышленной, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали ей оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, с какой-то смесью почтительности и фамильярности, но стоило монсеньору заговорить, и – мы уже убедились в этом – она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Сама м-ль Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навывкате и длинный, с горбинкой, нос, но все ее лицо, все ее существо – мы уже говорили об этом вначале – дышало невыразимой добротой. Она и всегда была predisположена к кротости, а вера, милосердие, надежда – эти три добродетели, согревающие душу, – мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее лишь агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!

Впоследствии м-ль Батистина столько раз рассказывала о том, что произошло в епископском доме в этот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.

В ту минуту, когда вошел епископ, г-жа Маглуар что-то с горячностью говорила м-ль Батистине. Она беседовала с мадмуазель на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.

По-видимому, г-жа Маглуар, закупая кое-какую провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается где-то на улицах и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собою и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие неприятности. И что поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и позаботиться о том, чтобы их дома были надлежащим образом закрыты, входы загорожены, а двери снабжены засовами и накрепко заперты.

Госпожа Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодно, теперь грелся, сидя у камина, да и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу г-жи Маглуар. Она повторила ее. Тогда м-ль Батистина, которой хотелось доставить удовольствие г-же Маглуар, не вызвав при этом недовольства брата, осмелилась робко спросить у него:

– Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?

– Да, я слышал что-то в этом роде, – ответил епископ.

Потом, передвинув несколько свой стул и опершись обеими руками о колени, он обратился к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:

– Ну, в чем дело? Что случилось? Мы, стало быть, находимся в большой опасности?

И г-жа Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец,

какой-то опасный нищий. Он хотел переночевать у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди видели, что он прошел по бульвару Гасенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья – настоящий висельник.

– В самом деле? – спросил епископ.

Этот снисходительный вопрос ободрил г-жу Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:

– Да, ваше высокопреосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. К тому же полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не иметь ночью даже уличных фонарей! Выходишь, а тут тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что...

– Я ничего не говорю, – прервала ее м-ль Батистина. – Все, что делает мой брат, хорошо!

Словно не слыша этого возражения, г-жа Маглуар продолжала:

– Вот мы и говорим, что наш дом совсем ненадежен и что, если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде; они в сохранности, так что это минутное дело; говорю вам, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы на одну только нынешнюю ночь, потому что, говорю вам, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи первый встречный; ну и потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть посреди ночи. О господи, да чего уж тут! Никому нет нужды и спрашивать разрешения...

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

## Глава 3

### Героизм слепого повиновения

Дверь открылась.

Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.

Вошел человек.

Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.

У г-жи Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.

Мадмуазель Батистина обернулась, увидела входящего человека и, испугавшись, приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.

Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.

Он уже открыл рот, видимо собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:

– Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, по месту назначения. Вот уже четыре дня, как я шагаю пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я

был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я был в собачьей конуре. Собака укусила меня и выгнала вон, словно она была человеком. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться там хотя бы в какой-нибудь дверной нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги. Целый капитал. Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет... Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. Вы позволите мне остаться?

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – поставьте на стол еще один прибор.

Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.

– Погодите, – продолжал он, словно не поверив своим ушам, – тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник. Осторожник. Я прямо с каторги.

Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.

– Вот мой паспорт. Как видите – желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Я и сам умею читать. Выучился в остроге. Там есть школа для тех, кто желает. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт: «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец...» – ну да это вам безразлично... – «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну, вот! Все меня выбрасывали вон. Ну, а вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – постелите чистые простыни на кровати в алькове.

Мы уже говорили о том, какой характер носило повиновение обеих женщин.

Госпожа Маглуар вышла исполнить оба приказания.

Епископ обратился к незнакомцу:

– Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.

Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровом и мрачном, изобразилось необыкновенное изумление, недоверие, радость. Он стал бормотать, словно помешанный:

– Вправду? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не тыкаете мне? «Убирайся прочь, собака!» – вот что всегда говорят мне люди. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Вот спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда. Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати. Вы позволяете мне остаться! Право, вы достойные люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощения, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?

– Я священник и живу в этом доме, – сказал епископ.

– Священник! – повторил пришелец. – Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы – кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви? Гляди-ка, ну и дурень же я, право! Не заметил вашей скуфейки.

С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. М-ль Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

– Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо – хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?

– Нет, – ответил епископ, – оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали – сто девять франков?

– И пятнадцать су, – добавил путник.

– Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы заработать это?

– Девятнадцать лет.

– Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул.

Путник продолжал:

– У меня покуда все мои деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грасе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был майоркский епископ, в Марселе. Епископ – это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю про это, но уж очень непонятны мне такие вещи. Вы подумайте только – наш брат и он! Он служил обедню посреди тюремного двора, там устроили престол, а на голове у него была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.

Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь.

Вошла г-жа Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.

– Госпожа Маглуар, – сказал епископ, – поставьте этот прибор как можно ближе к огню. – И, повернувшись к своему гостю, добавил: – Ночной ветер очень холоден в Альпах. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово *сударь* своим ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. *Сударь* для каторжника – это все равно что стакан воды для пассажира, пострадавшего при кораблекрушении на «Медузе». Опозоренные жаждут уважения.

– Как тускло горит эта лампа, – заметил епископ.

Госпожа Маглуар поняла епископа, пошла в его спальню, взяла там с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.

– Господин кюре, – сказал пришелец, – вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.

Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.

– Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучат голод и жажда – добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.

Человек изумленно взглянул на него.

– Правда? Вы знали, как меня зовут?

– Да, – ответил епископ, – вас зовут «брат мой».

– Знаете что, господин кюре, – вскричал путник, – входя сюда, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной – у меня как будто и голод прошел.

Епископ посмотрел на него и спросил:

– Вы очень страдали?

– Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, – все равно кандалы. Собаки и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. И все тут.

– Да, – сказал епископ, – вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этого горестного места, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда чувство доброты, кротости и мира, то вы лучше любого из нас.

Между тем г-жа Маглуар подала ужин: суп на постном масле с хлебным мякишем и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смоков, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина.

На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.

– Милости просим! – с живостью сказал он.

Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. М-ль Батистина, державшаяся невозмутимо-спокойно и непринужденно, заняла место налево от брата.

Епископ прочел предобеденную молитву и, согласно своему обыкновению, сам разлил суп. Гость жадно набросился на еду.

Вдруг епископ заметил:

– Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает.

В самом деле, г-жа Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался к ужину кто-либо из гостей, в обычае дома было раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов – невинное хвастовство! Это наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.

Госпожа Маглуар поняла намек, безмолвно вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.

## Глава 4

### Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье

А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за этим столом, лучше всего будет привести здесь отрывок из письма м-ль Батистины к г-же де Буашеврон, где с простой и добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:

.....

«...Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:

– Господин кюре, служитель божий, для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.

Между нами говоря, это замечание немного задело меня. Мой брат ответил:

– У них больше работы, чем у меня.

– Нет, – возразил человек, – у них больше денег. Вы бедны, я это хорошо вижу. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы вправду священник? Право же, если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.

– Господь бог более чем справедлив, – ответил мой брат. Затем он спросил: – Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?

– Да, по принудительному маршруту.

Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:

– Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.

– Вы идете в хорошие места, – сказал мой брат. – Во время революции семья моя была разорена, и сначала я нашел убежище в Франш-Конте, где некоторое время жил трудами рук своих. Я был полон желания работать. И я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые фабрики, сталелитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов, причем четыре из них, очень значительные, в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере...

По-моему, я не ошибаюсь, и это именно те названия, которые привел мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.

– Сестрица, – сказал он, – мне кажется, у нас есть родственники в этих краях.

Я ответила:

– Были, и при старом режиме один из них, господин де Люсенэ, служил в Понтарлье начальником городской стражи.

– Все это так, – продолжал брат, – но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал. В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями».

Тут мой брат, не забывая усиленно угощать этого человека, очень подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов: «большие риги», принадлежащие богатым, где держат по сорок-пятьдесят коров и где за лето выдывают от семи до восьми тысяч сыров, и «артельные сырны», принадлежащие беднякам – то есть крестьянам с предгорий, которые сообща содержат своих коров и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел по три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.

За едой этот человек стал понемногу оживать. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, говоря, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне. Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразила одна вещь. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, мой брат в продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о его положении или осведомить его о том, кем является мой брат. Казалось бы, для него как для епископа это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая в будущем вести лучшую жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его жизни. Ведь в ней



заклучалась и история его проступка, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. И до такой степени, что, говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, добавил он, «счастливы, потому что безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, – это обращаться с ним так же, как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была затаенная мысль моего брата. Так или иначе, я могу сказать только, что если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; в продолжение всего вечера он был совершенно таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судьей Гедеоном или с нашим приходским священником.

К концу ужина, когда мы уже закусывали смоквами, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающее. Он больше не говорил и казался очень утомленным. Когда бедная старушка Жербо ушла, брат прочитал послеобеденную молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель». Госпожа Маглуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала г-жу Маглуар отнести на постель гостя шкуру шварцвальдской косули, которая обычно лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что она такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же он купил и ножичек с ручкой слоновой кости, который я употребляю за столом.

Госпожа Маглуар тотчас же вернулась назад, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».

## Глава 5 Спокойствие

Пожелав сестре доброй ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой вручил своему гостю и сказал:

– Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.

Путник последовал за ним.

Как уже известно из вышесказанного, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили через спальню, г-жа Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.

Епископ проводил своего гостя до самого алькова. Там ожидала его постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на маленький столик.

– Ну, желаю вам спокойной ночи, – сказал епископ. – Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.

– Спасибо вам, господин аббат, – сказал путник.

Не успел он произнести эти исполненные мира слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было – предостережение или угроза? Или он просто повиновался какому-то безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он круто обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло вскричал:

– Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой! – Он помолчал, потом прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное: – Хорошо ли вы подумали о том, что делаете? Почему знать – может быть, мне случилось на своем веку убить человека?

– Про то ведает только бог, – ответил епископ.

Затем, торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего при этом голову, и, не оглядываясь назад, пошел к себе.

Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала алтарь. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву.

Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую ночью бог открывает очам тех, кто бодрствует.

Что касается путника, то он так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном.

Когда епископ возвращался из сада в свою спальню, пробило полночь.

Через несколько минут в маленьком домике все спало.

## **Глава 6**

### **Жан Вальжан**

Посреди ночи Жан Вальжан проснулся. Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезальщиком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца – Жаном Вальжаном, или Влажаном, – по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получившееся от сокращения слов *voilà a Jean*<sup>14</sup>.

Жан Вальжан был по характеру задумчив, но не печален, – свойство привязчивых натур. А в общем, этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и незначительным. Совсем еще ребенком он потерял отца и мать. Мать его, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, занимавшийся, как и сын, подрезкой деревьев, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семью детьми – мальчиками и девочками. Эта-то сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему – год. Самому Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и в свою очередь поддержал выросшую его сестру. Это сделалось само собой, как долг, не без некоторого глухого недовольства со стороны Жана Вальжана. Так, в тяжелом и плохо оплачиваемом труде, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него когда-нибудь была подружка. Ему некогда было влюбляться.

---

<sup>14</sup> Вот Жан.

Вечером он приходил домой усталый и молча съедал свой суп. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из своих детей. Казалось, ничего не замечая, он не мешал сестре делать свое дело и, низко согнувшись над столом, продолжал есть, почти уткнувшись носом в свой суп, не убирая длинных волос, падавших ему на глаза и свисавших над миской. В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улочки, жила фермерша по имени Мари-Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибегали к Мари-Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом уголке аллеи, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что больше проливалось молока им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари-Клод за кринку молока, и дети избегали кары.

В сезон подрезки деревьев он зарабатывал по восемнадцать су в день, а потом нанимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Постепенно нужда все сильнее зажимала в тиски это злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба – в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба.

В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал вовремя и успел еще заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла вместе с ним. Изабо бросился на улицу; вор убегал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.

Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, из которого он отлично стрелял, – он немного промышлял браконьерством, – и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, весьма недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы-горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист – в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость характера, не уничтожая подчас его человечности.

Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловец этот миг, когда общество отстраняется и навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.

22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главным командующим Итальянской армии, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона-Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы – сейчас ему около девяноста лет – все еще хорошо помнит этого беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений – представлений бедного невежественного человека – просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными

ударами молота ему заклепывали железный ошейник на затылке, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезальщиком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и последовательно опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление, в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.

Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он превратился в номер 24601. Что случилось с его сестрой? Что случилось с ее семерыми детьми? Кому какое дело до этого? Что станет с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?

Все та же старая история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят – кто знает, куда именно, быть может, каждый своей дорогой – и понемногу потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня деревенской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен-Сюльпис, на улице Хлебопекров. При ней оставался только один ребенок, мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время – задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час – целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданище: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же во тьме, съевшись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла только убогая кровать, прялка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и дав ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал – ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить; и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.

К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этого невеселого места. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня – потому что светло, ночи – потому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал

тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с тем же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется, на тринадцатом году, он бежал в последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия – три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба.

Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод.

Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.

Что же произошло в этой душе?

## Глава 7

### Глубь отчаянья

Попытаемся рассказать это.

Общество обязано взглянуть на такого рода явления, ибо оно само создает их.

Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантской койки, он исследовал свою совесть и стал размышлять.

Он объявил себя судьей.

И прежде всего призвал к суду самого себя.

Он признал, что вовсе не был осужден невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что, если бы он попросил, ему, быть может, и не отказали бы в этом хлебе; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали этот хлеб либо из сострадания, либо за работу; что на слова: «Разве может человек ждать, когда он голоден?» – нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для бедных его детишек; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестие, – был дурной выход; словом, он признал себя виновным.

Затем он спросил себя:

Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была

кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чашек весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершенный проступок, и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание, отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности – преступлением, повторяющимся каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?

Он спросил себя, вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать своих членов безрассудной своей беспечности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности – с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между недостатком и чрезмерностью – недостатком работы, чрезмерностью наказания?

Он спросил себя, не чудовищно ли, что общество так обращалось именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, были одарены наименее щедро и, следовательно, были наиболее достойны снисхождения?

Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец, он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, беззаконием, все же никак не являлось и актом справедливости.

Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; но негодование всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.

К тому же человеческое общество причинило ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему только затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь – война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда уйдет оттуда.

В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-иньорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут лишь усилить могущество зла.

Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду провидение, сотворившее общество, и также вынес ему приговор.

Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны, в нее проник свет, а с другой – тьма.

Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.

Здесь мы не можем не задержаться для минутного размышления.

Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого бог создал добрым, стать злым по вине другого человека?

Может ли душа под влиянием судьбы совершенно преобразиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности, не было ли в душе Жана Вальжана той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может окончательно погасить?

Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы *нет*, если бы увидел в Тулоне этого каторжника, когда тот в часы отдыха – часы его размышлений, – сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел на колесе какого-нибудь судового вóрота, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый – пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.

Да, несомненно, и мы вовсе не хотим скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг; он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, он стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, – слово *надежда*.

Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, и даже больше того – мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того, как он испытал столько горя, многое в нем самом осталось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях. Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел в этой тьме, ощупью находя свой путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней ли, или по внешней причине, им овладевал порыв гнева, приступ страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.

Но вот молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он уже не помнил и сам.

Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преображения в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безумные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.

Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним сравниться в этом отношении. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял оружие, которое теперь называют домкратом, а в старину звали *orgueil*<sup>15</sup>, и от которого, упомянем вскользь, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подоспели рабочие.

Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно мечтая о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами – людьми, которые вечно завидуют насекомым и птицам. Вскрабаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины и ног, втискивая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.

Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год злобещий хохот – хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. У него был такой вид, словно он постоянно занят созерцанием чего-то страшного.

И действительно, он был поглощен своими мыслями.

Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать свой взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, он всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий – громада, очертания которой ускользали от него, а давящая масса преисполняла отчаянием; он видел колоссальную пирамиду, называемую нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной гряде он вдруг различал там и сям, то совсем рядом с собой, то вдали, на недостижимых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине – окруженного солнечным нимбом самого императора в ослепительно сияющей короне. И ему казалось, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более злобещим. Все это – законы, предрассудки, события, люди, предметы – кружилось, проносилось над его головой, повинуюсь сложному и таинственному велению бога, продиктованному цивилизации, топча и уничтожая его с какой-то невозмутимой жестокостью и неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубь бедствия, возможного для человека, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.

Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?

Если бы зерно проса, попавшее под мельничный жернов, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.

<sup>15</sup> Вага.



В конце концов, все это – действительность, населенная призраками, фантасмагория, населенная образами из реальной жизни, – привело его к особому душевному состоянию, которое почти невозможно выразить словами.

Случалось, в самый разгар своей тяжелой, мучительной работы он вдруг останавливался. Он начинал думать. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным; все, что окружало его, казалось ему неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон». Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него: надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударило его палкой.

Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через какое-то подвальное оконце.

В заключение, подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только можно сделать из этого какие-либо положительные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен – таким воспитала его каторжная тюрьма – к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в полном беспамятстве и является как бы мстью за все, что он выстрадал; во-вторых – к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада характера: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокое сознание перенесенных несправедливостей, чувство возмущения даже против добрых, невинных и праведных, если они существуют. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам – та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить – все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как *весьма опасного человека*.

Из года в год душа его все более черствела – медленно, но непрерывно. Черствое сердце – сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.

## Глава 8

### Море и мрак

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, он погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного – лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.

Он испускает отчаянные крики, которые замирают в глубинах океана. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, иступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право

на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, он упал – все кончено.

Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и потрепанные ветром, окружают его своим ужасным объятием; бездна уносит его в своей качке, водяные лоскутья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его, цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; гнусный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды – воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, плывет. Он – это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, – сражается с неистощимым.

А где же корабль? Далеко. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.

На человека налетают шквалы, его душит морская пена. Он поднимает глаза – над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он – жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем они могут помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он – он изнывает в предсмертной муке.

Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечностей – меж океаном и небом: первый – могила, второе – саван.

Надвигается ночь, уже столько часов он плывет, его силы приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся совсем; он один среди гигантской сумеречной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чувствует под водою движение каких-то бесформенных чудищ невидимого; он зовет на помощь.

Людей больше нет. Где же бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего – в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню – они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности.

Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное и шумное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним – омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть; он перестает бороться, он уступает, он сдается; и вот он исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана.

О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О злое исчезновение поддержки! О нравственная смерть!

Море – это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море – это безграничное страдание.

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

## Глава 9

### Новые горести

Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» – наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.

У него было немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при выходе из острога.

Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Скажем попросту – обворованным.

На другой день после освобождения, проходя через Грас, он увидел перед воротами завода померанцевых вод людей, выгружавших тюки товара. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су». Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжан запротестовал. Ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».

Он опять счел себя обворованным.

Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.

Освобождение – это еще не свобода. Выйти из острога – еще не значит уйти от осуждения.

Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грасе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.

## Глава 10

### Человек проснулся

Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополудни, Жан Вальжан проснулся.

Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, чтобы не нарушить его сон.

Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.

Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружающую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.

Если человек пережил за день много разных впечатлений, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон

приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.

Он находился в таком состоянии духа, когда мысли и представления неясны. В голове у него теснился хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, безмерно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и пропадало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Вот эта мысль, мы сейчас ее откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые г-жа Маглуар разложила за ужином на столе.

Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь... В нескольких шагах... Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха служанка убирала их в маленький шкафчик у изголовья кровати... Он отлично заметил этот шкафчик... С правой стороны, если идти из столовой... Они были тяжелые и притом из старинного серебра... За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков... Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет... Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не «обокрало» его.

Добрый час он провел в колебаниях и сомнениях, к которым примешивалась какая-то внутренняя борьба. Пробило три. Он снова открыл глаза, резко приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который, ложась, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснувшись ими пола и внезапно сел, почти сам не сознавая, как это произошло.

Некоторое время он сидел, задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствующего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати; потом принял свое прежнее положение и застыл на месте, снова погружившись в задумчивость.

Среди этого страшного раздумья та мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она словно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались только на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с какой-то механической назойливостью мелькал перед его глазами.

Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»

Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Поэтому снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате стоял какой-то сумеречный полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, перемежающийся из-за набегавших на луну облаков, походил на сизую дымку, просачивающуюся в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на маленькую задвижку. Он открыл окно, но холодная, резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. Позади нее, в отдалении, Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что за стеной была аллея какого-то бульвара или же обсаженный деревьями переулок.

Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул из него какой-то предмет, положил

его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный на одном конце, как копье.

Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно – дубинка.

Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и им давали иногда рабочие орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу.

Он взял подсвечник в правую руку и, задерживая дыхание, бесшумным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.

## **Глава 11**

### **Что он делает**

Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.

Он толкнул дверь.

Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.

Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.

Он подождал с секунду, потом еще раз толкнул дверь, уже смелее.

Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял маленький столик, который углом своим загораживал вход.

Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.

Он решился и в третий раз толкнул дверь, сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо плохо смазанная, вдруг закричала во мраке резко и протяжно.

Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.

Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что эта петля внезапно ожила, превратилась в какое-то страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.

Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению; дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на месте, словно превратившись в соляной столб, не смея шевельнуть пальцем.

Прошло несколько минут. Дверь стояла отворенной настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Ничто там не шевельнулось. Он прислушался. Все безмолвствовало в доме. Скрип ржавой петли не разбудил ни единой души.

Первая опасность миновала, но в душе его продолжало бушевать страшное смятение. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда считал себя

погибшим. Теперь он хотел одного – поскорее покончить с задуманным. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.

В комнате царило глубокое спокойствие. Там и сям можно было различить смутные, неясные очертания предметов – днем это просто были разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или молитвенный нагой, но теперь, в этот час, все это представлялось лишь темным силуэтом или белевататым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.

Вдруг он остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.

Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и проникновенным искусством вмешивается в наши действия, как бы желая натолкнуть нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, эта туча, словно нарочно, разорвалась и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежал в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали до кистей его руки. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько милосердных поступков и столько добрых дел, свесилась с кровати. Лицо его было озарено каким-то смутным выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось, оно сияло. Чудесное отражение какого-то невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников во время сна видится таинственное небо.

Отблеск этого неба лежал на лице епископа.

И в то же время оно светилося изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.

Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, спящий предстал словно в сверкающем венце. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана каким-то не поддающимся описанию полусветом. Эта луна в небе, эта уснувшая природа, этот недвижимый сад, этот мирный дом, этот ночной час, эта минута, тишина – все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя эти седые волосы и сомкнутые глаза, это лицо, исполненное надежды и веры, эту старческую голову и этот младенческий сон.

Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, сам того не ведая.

Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни он не видел ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника.

Этот сон в таком уединении, рядом с таким человеком, каким был он, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.

Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, – даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочесть что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление – и только. Он смотрел – вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Было очевидно, что он взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?

Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, – это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов размозжить этот череп или поцеловать эту руку.

Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой – свой железный брусок; короткие волосы ошетинились над его нахмуренным лбом.

Епископ все так же спокойно и крепко спал под этим страшным взглядом.

Освещенное лунным бликом, над камином смутно вырисовывалось распятие, которое словно раскрывало им объятия, благословляя одного и прощая другого.

Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял свой подсвечник, видимо, желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел крупными шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, словно тигр перепрыгнув через забор, скрылся.

## Глава 12

### Епископ за работой

На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала г-жа Маглуар, сильно встревоженная.

– Ваше преосвященство, ваше преосвященство! – кричала она. – Не знает ли ваша милость, где корзинка, в которой я держу серебро?

– Знаю, – ответил епископ.

– Слава богу! – обрадовалась она. – А то я понять не могла, куда это она делась.

Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее г-же Маглуар.

– Вот она, – сказал он.

– То есть как? – удивилась она. – Пустая? А серебро?

– Ах, вы беспокоитесь о серебре? – проговорил епископ. – Я не знаю, где оно.

– Господи помилуй! Оно украдено! Это ваш вчерашний гость – вот кто украл его!

В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, г-жа Маглуар побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял, нагнувшись, и, вздыхая, рассматривал саженец ложечника, сломанный корзинкой при ее падении на клумбу. Услышав крик г-жи Маглуар, епископ выпрямился.

– Ваше преосвященство! – кричала она. – Он ушел! Серебро украдено!

В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя обшивка ограды была сорвана.

– Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле! Какой негодяй! Он украл наше серебро!

Епископ с минуту молчал, потом поднял на г-жу Маглуар свой серьезный взгляд и кротко возразил ей:

– А где сказано, что это серебро было нашим?

Госпожа Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:

– Госпожа Маглуар, я был не прав, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.

– Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, – возразила г-жа Маглуар. – Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы, ваше преосвященство, будете теперь кушать?

Епископ взглянул на нее с удивлением.

– Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?

Госпожа Маглуар пожала плечами.

– У олова неприятный запах.

– А железных?

Госпожа Маглуар сделала выразительную гримасу.

– Железные дают привкус.

– В таком случае, – сказал епископ, – мы обзаведемся деревянными.

Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, которая слушала его молча, и г-же Маглуар, потихоньку ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.

– Ведь надо же придумать! – бормотала про себя г-жа Маглуар, суетясь у стола. – Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..

Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

Дверь открылась. Странная и возбужденная группа людей появилась на пороге. Три человека держали за ворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый – Жан Вальжан.

Жандармский унтер-офицер, по-видимому главный над ними, остановился в дверях. Затем он вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.

– Ваше высокопреосвященство... – начал он.

При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, изумленно поднял голову.

– Высокопреосвященство! – прошептал он. – Значит, это не простой священник...

– Молчать! – сказал жандарм. – Это его высокопреосвященство господин епископ.

Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.

– Ах, это вы! – вскричал он, обращаясь к Жану Вальжану. – Я очень рад вас видеть. Но послушайте, что же это вы? Ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему вы не захватили их вместе с вашими приборами?

Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать никакой человеческий язык.

– Ваше высокопреосвященство, – сказал жандармский унтер-офицер, – следовательно, то, что нам сказал этот человек, – правда? Мы встретили его. У него был такой вид, словно он убегал от кого-то. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.

– И он вам сказал, – улыбаясь, прервал епископ, – что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.

– В таком случае мы можем отпустить его? – спросил унтер-офицер.

– Разумеется, – ответил епископ.

Жандармы выпустили Жана Вальжана, который невольно попятился назад.

– Это правда, что меня отпускают? – произнес он почти невнятно, словно говоря во сне.

– Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? – ответил один из жандармов.

– Друг мой, – сказал епископ, – не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они.



Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул Жану Вальжану. Обе женщины смотрели на это без единого слова, движения или взгляда, которые могли бы помешать епископу.

Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки оба подсвечника.

– А теперь, – сказал епископ, – идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.

Затем он обернулся к жандармам:

– Господа, вы можете идти.

Жандармы вышли.

Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.

Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:

– Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жан Вальжан, совершенно не помнивший, чтобы он что-нибудь обещал, стоял в полном смятении. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. Он торжественно продолжал:

– Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.

## Глава 13 Мальш Жерве

Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от погони. Быстрым шагом он шел по полям, выбирая первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он пробродил так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества новых ощущений. Он чувствовал в себе глухой гнев. Против кого? – он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление, с которым он боролся и которому противопоставлял ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это чувство тяготило его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя, что же теперь его заменит? Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и доносившийся до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы – столько времени не возникали они перед ним.

Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.

Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой бурой равнине, совершенно пустынной. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего – даже колокольни какой-нибудь отдаленной деревенской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.

Погруженный в свое мрачное раздумье, которое способно было придать еще более утраченный вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку.

Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, мальчика лет десяти, который, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, – одного из тех ласковых и веселых малышей, что ходят из края в край в рваных своих штанишках, сквозь которые светятся голые коленки.

Не прерывая своей песенки, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони несколько мелких монет – должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.

Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую только что ему удалось подхватить всю целиком тыльной стороной руки.

Однако на этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Но мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.

Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану.

Место было совершенно пустынное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только слабые крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, которое вплетало в его волосы золотые нити и заливало кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.

– Сударь, – сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая складывается из неведения и невинности, – а моя монета?

– Как тебя зовут? – спросил Жан Вальжан.

– Малыш Жерве, сударь.

– Убирайся, – сказал Жан Вальжан.

– Сударь, – повторил мальчик, – отдайте мне мою монету.

Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.

– Мою монету, сударь! – еще раз повторил мальчик.

Взгляд Жана Вальжана был по-прежнему устремлен в землю.

– Мою монету! – кричал ребенок. – Мою светленькую монетку! Мои деньги!

Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.

– Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!

Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:

– Кто это?

– Я, сударь, – ответил ребенок. – Малыш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!

И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:

– Вот что, отодвинете вы, наконец, вашу ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!

– Ах, ты все еще здесь! – вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; по-прежнему не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил: – Уходи, покуда цел!

Мальчуган с испугом посмотрел на него, весь задрожал и после нескольких секунд колебания пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.

Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в свое раздумье, услышал его плач.

Через несколько мгновений ребенок исчез.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Он ничего не ел целый день; возможно, у него была лихорадка.

Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.

Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли свою палку.

В эту минуту он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную в землю его ногой и блестящую между камнями.

Это произвело на него действие гальванического тока. «Что это такое?» – пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляда от этого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.

Так прошло несколько минут. Вдруг он судорожно бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.

Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.

Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в том направлении, в котором исчез ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.

Тогда он закричал изо всей силы: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»

Потом замолчал и прислушался.

Никакого ответа.

Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.

Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.

Он снова пошел, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне самым грозным и самым горестным голосом, какой только можно себе представить: «Малыш Жерве! Малыш Жерве!»

Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, несомненно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.

Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:

– Господин кюре, не видали вы тут мальчика?

– Нет, – ответил священник.

– Мальчика по имени Малыш Жерве?

– Я никого не видел.

Жан Вальжан вынул из своего кошелька две пятифранковые монеты и протянул священнику.

– Господин кюре, вот вам на ваших бедных. Господин кюре, это мальчуган лет около десяти. Кажется, он был с сурком и шарманкой. Он прошел здесь... знаете, из этих савяров.

– Я не видел его.

– Малыш Жерве! А он не из ближних сел? Вы не можете мне сказать?

– Если этот мальчик такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.

Жан Вальжан быстро вынул еще две пятифранковые монеты и передал их священнику.

– На ваших бедных, – сказал он. И вдруг добавил в каком-то исступлении: – Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.

Священник стегнул лошадь и ускакал, очень испуганный.

Жан Вальжан побежал в прежнем направлении.

Он пробежал таким образом довольно большое расстояние, он смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Два или три раза он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывался небольшой кустик или камень, почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже вошла. Он еще раз взгляделся в даль и прокричал в последний раз: «Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве!» Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Малыш Жерве!» – но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул: «Я негодяй!»

Сердце его больше не могло выдержать, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.

Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился уже – мы видели это – от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился ангельскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее господу богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой небесной снисходительности гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным нападением, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда; что если он уступит, то придется отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным и что сейчас завязалась борьба, гигантская и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.

Вглядываясь в открывшийся ему туманный просвет, он шагал словно пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел так, с блуждающим взором? Слышал ли он те таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что, если он хочет стать добрым, ему придется сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?

Здесь нужно еще раз задать себе те вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: доходила ли до его сознания хотя бы смутная тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье воспитывает ум – мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, явился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить чрезмерно яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная

и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он совсем перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей вдруг восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.

Одно было достоверно, в одном он не сомневался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, тронувшие его сердце.

Таково было его душевное состояние, когда он встретил Малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»? Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, – украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.

Ибо – странное явление, возможное лишь при тех условиях, в каких находился он, – украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже не был более способен.

Так или иначе, но это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, отделив все неясное и туманное в одну сторону, а свет – в другую, воздействовало на его душу в том состоянии, в каком она тогда была, так же как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.

Прежде всего, даже не успев еще осознать и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему его деньги; потом, удивившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он – только призрак, а пред ним, облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с тысячей гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.

Как мы уже говорили, чрезмерность несчастий сделала его в некотором роде ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой этого Жана Вальжана, его страшное лицо. Он почти готов был спросить себя, кто этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.

Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она вытесняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.

Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинственной глубине какой-то мерцающий огонек, который принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик и что этим факелом был епископ.

Его мысль попеременно останавливалась на двух людях, стоявших перед его сознанием, – на епископе и Жане Вальжане. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей восторженному состоянию такого рода, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ.

Он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.

Жан Вальжан плакал долго. Он плакал горячими слезами, он плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.

Пока он плакал, сознание его все прояснялось и наконец озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, его первый проступок, его длительное искупление, его внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута его выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, – эта кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более чудовищная, что она произошла уже после прощения епископа, – все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему безобразной; в свою душу – и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит сатану в лучах райского солнца.

Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. По-видимому, можно считать достоверным лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Епархиальной улице, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей монсеньора Бьенвеню.

## Книга третья В 1817 году

### Глава 1 1817 год

А год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для г-на Брюгьера де Сорсум. Все парикмахерские заведения, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным своим носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный же подвиг г-на Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до пяти лет огромные шапки из сафьяна с наушниками, сильно напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета в белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им названия департаментов. Наполеон находился на острове Св. Елены, и, так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м-ль Биготтини танцевала; царил Потье; Одри еще не успел прославиться. г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. г-н Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толерону. Обер-камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, подсмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, а Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели местами от бивуачных костров австрийцев, построивших свои бараки возле Гро-Кайу. Две-три такие колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне<sup>16</sup>. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер, издания Туке, и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою – Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во вре-

---

<sup>16</sup> Игра слов, построенная на двойном смысле: Champ-de-Mai – Майское собрание (буквально – Майское поле) и Champ-de-Mars – Марсово поле (буквально – Мартовское поле).

мена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала трем или четверем из своих друзей еще не изданную «Урику». В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада – двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». г-н Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созрел будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля-Луи Курье. Нашелся лже-Шатобриан в лице Маршанжи; лже-Маршанжи в лице д'Арленкура еще не появился. «Клара Альба» и «Малек-Адель» считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим писателем современности. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти.

В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые изображали акробатические упражнения и, придавая особую остроту афишам Франкони, собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. г-н Паэр, автор «Агнезы», добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал небольшими камерными концертами у маркизы де Сасене в улице Виль-л'Эвек. Все молодые девушки распевали «Сент-Авельского отшельника», текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в «Зеркало». Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцога Беррийского, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женили на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м-ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной. «Минерва» писала фамилию Chateaubriand<sup>17</sup> так: Chateaubriant. Эта буква t на конце вместо d вызвала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Султ не выиграл ни одного сражения; Наполеон – и это правда – уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходили, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», – и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эра революций была навсегда закончена королем Людовиком XVIII, прозванным «бессмертным автором хартии». На береговом откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово Redivivus<sup>18</sup>. г-н Пье готовил в доме № 4 на улице Терезы тайное

<sup>17</sup> Шатобриан.

<sup>18</sup> Воскресший (лат.).



сборище с целью упрочить монархию. Ультрароялисты говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О'Магони и де Шапделен, слегка поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Со своей стороны, общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. г-н Деказ, до некоторой степени либерал, господствовал над умами. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме № 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю г-ну Пилоржу различные варианты «Монархии согласно хартии». Делававшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. де Фелец подписывался буквой А; Гофман – буквой Z. Шарль Нодье писал «Терезу Обер». Развод был упразднен. Лицеи назывались коллежами. Ученики коллежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству герцогине Шартрской о том, что на выставленном повсюду портрете герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имел более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, – крупная неприятность.

Город Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае г-н де Тренкелаг; г-н Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с г-ном Клозелем де Кусерг; г-н де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу «Два Филибера» в Одеоне, на фронтоне которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочесть: «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под следующим заголовком: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», – говорил сей наивный издатель. Общее мнение гласило, что г-н Шарль Луазон будет гением века; его уже начала грызть зависть – признак славы, и про него написали такой стишок:

Луазон, воришка, плут,  
Хоть в орла рядится он, –  
Ножки сразу выдают,  
Что гусенок – Луазон.

Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Лионскую епархию, то ею теперь управлял де Пен, архиепископ Амазийский. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Дапской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал величественную свою мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д'Анже делал уже попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтинок, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия – словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту

бесплезную затею. г-н де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился почтенным творцом нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции г-на Делава по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были надавать друг другу тумаков. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, усердно хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой в степень «презренного Грегуара».оборот речи, который мы только что употребили: «низведен в степень», был объявлен неологизмом г-ном Руайе-Колларом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев входящего в собор Парижской Богоматери графа д'Артуа, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку являлись на Бал дикарей». Крамольные речи; полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали среди бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр-Бра, обнажали свои продажные душонки и верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: *Please adjust your dress before leaving*<sup>19</sup>.

Вот что впережку всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими своеобразными подробностями, и иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, – полезны, ибо для человечества нет чересчур мелких фактов, как для растительного мира нет чересчур мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и складывается облик столетий.

В этом-то 1817 году четверо юных парижан придумали «забавную шутку».

## Глава 2

### Двойной квартет

Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора и четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент – это парижанин: учиться в Париже – все равно что родиться в Париже.

Эти молодые люди ничего значительного собой не представляли, всякому случалось видеть им подобных; четыре образчика «первого встречного», не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, – восклицал романс, – Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее, и первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.

<sup>19</sup> Перед уходом оправляйте одежду (англ.).

Этих Оскаров звали: одного – Феликс Толомьес из Тулузы, второго – Листолье из Кагора, третьего – Фамейль из Лиможа и последнего – Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фавуритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину – уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.

Фавуритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, немного выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах душевную ясность – спутницу труда, а в душе пушок невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую называли старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, признаем, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели Фантина-Блондинка, переживавшая пору своей первой иллюзии.

Далия, Зефина и в особенности Фавуритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод, и влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей в Гюстава. Бедность и кокетство – пагубные советчицы: первая брюзжит, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате – падение, а потом и камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляют блеском всего, что непорочно и неприступно. Увы, что случилось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!

У Фавуритки, побывавшей в Англии, были две поклонницы – Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и любитель прихвастнуть, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фавуритка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старая женщина, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» – «Нет». – «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Эта мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фавуриткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.

Причиной, которая свела Далию с Листолье, – а быть может, и не с одним Листолье, – и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. Что касается Зефины, то она завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».

Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.

Мудрость и целомудрие – вещи разные; доказательством этому служит то, что Фавуритка, Зефина и Далия – разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств – были девушками мудрыми, а Фантина – девушкой целомудренной.

«Целомудренной? – спросите вы. – А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.

Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.

Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это человеческое существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото – на головке, а жемчуг – во рту.

Она работала, чтобы жить; потом – тоже для того, чтобы жить, – она полюбила, ибо существует и сердечный голод.

Она полюбила Толомьеса.

Для него – любовное похождение, для нее – истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишасшие толпами студентов и гризеток, видели начало ее грезы. Фантина в этом лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.

Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он-то и был умнее их всех.

Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты – скандально много для горы Св. Женеьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой сам он говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок – колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил островами, волосы – жизнерадостностью, здоровье – иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете – великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron – по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону остальных трех членов компании и с загадочным видом сказал им:

– Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фавуритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, и особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa o miracolo! – Желтолицый, сотвори чудо!» – так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес, когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» В то же самое время наши родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, что время пришло. Давайте потолкуем.

Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха одновременно вырвался из всех четырех глоток, и Блашвель вскричал: «Вот так мысль!»

По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма, они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.

Следствием этого темного дела явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.

### Глава 3

#### Четыре пары

В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «околопарижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка сменилась вагоном, пакетбот – пароходом, и сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года – город, предместьем которого является вся Франция.

Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, и стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фавуритка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот счастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав при этом: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, угостили себя игрой в кольца на обсаженной косыми рядами деревьев площадке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, накупили дудок в Нельи, ели повсюду яблочные пирожные и были совершенно счастливы.

Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутивными шлепками. Опыянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»

Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фавуритка и сказала наставительным и материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».

Все четыре девушки были дьявольски хороши собой. Некий поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фавуритка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прислонившись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, и волосы представительниц прекрасного пола уже

начинали свисать грустными прядями; Зефина и Далия укладывали волосы валиком. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем г-н Дельвенкур отличался от г-на Блондо.

Блашвель, казалось, был создан исключительно для того, чтобы по воскресным дням носить на руке кашемировую шаль Фавуритки с цветной каймой по краям.

Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновой ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого – он курил.

«Этот Толомьес просто изумителен! – с почтительным уважением говорили о нем приятели. – Какие панталоны! Какая энергия!»

Что касается Фантины, то это была сама радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение – сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, полные тайны, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было бережливое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу», искаженное на канебьерский лад: quinze août – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, при шляпках, украшенных цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывающее и в то же время что-то обнажающее, казалось дерзкой находкой приличия, и, пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это бывает.

Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом, восхитительные линии рук, белая кожа с сетью синих жилок, свежие детские щеки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка скованная мечтательностью, скульптурные, изысканные формы – вот Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу.

Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что они видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе и красоту стиля, и красоту ритма. Стил – форма идеала, ритм – его движение.

Мы уже сказали, что Фантина была сама радость; Фантина была также сама стыдливость.

Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности

и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Вот это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотой булавкой. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать какого-то серьезного и почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы, и нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась вдруг глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обуславливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная и очаровательная ямочка – таинственная примета целомудрия, – благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.

Любовь – грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.

## Глава 4

### Толомьес так весел, что поет испанскую песенку

Весь этот день от начала и до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, что всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг – то были птицы.

Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, с лесом, сияли радостью жизни.

И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве свои розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин – все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, – кроме той, которая любила. «Ты всегда разыгрываешь из себя недотрогу», – говорила ей Фавуритка.

Таковы истинные радости. Счастливые пары – это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, – все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза – вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А эти легкие возгласы, это преследование друг друга в зеленой траве, эта девическая талия, которую обнимают на бегу, эти словечки, звучащие, как музыка, это обожание, выдающее себя интонацией одного слога, эти вишни, вырванные губами из губ, – все это искрится, проносясь мимо, в каком-то небесном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как отобразить их. «Отплытие на Киферу!» – восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает своих горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а д'Юрфе видит среди них друидов.

После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж; это было причудливое и прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, расщепленными веточками, лишенными листьев, но покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, всю усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.

Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Угощаю ослами!» – и, договорившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси – происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анакхоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты – этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди как следует раскатали большую сетку-качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Поочередно качая красавиц, среди дружного смеха и взлета юбок, образовывавших такие складки, которые восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец – ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, – напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотишки, высоко взлетавшей на веревке меж двух деревьев:

Soy de Badajoz.  
Amor me llama,  
Toda mi alma  
Es en mis ojos,

Porque enseñas  
A tus piernas<sup>20</sup>.

Одна только Фантина отказалась качаться.

– Терпеть не могу, когда так ломаются, – пробормотала Фавуритка довольно едким тоном.

После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, – говорила Фавуритка, – по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, уже совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, и его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Фавуритка восклицала:

– Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.

– Терпение, – отвечал Толомьес.

## Глава 5 У Бомбарды

Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый

<sup>20</sup> Я из Бадахоса. Любовь меня зовет. Вся душа моя в моих глазах, Когда ты показываешь Свои ножки. (испан.)



на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.

Большая, но неудобная комната с альковым и кроватью в глубине ее (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен, и пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем), два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном – гора пышных букетов вперемежку со шляпами, мужскими и дамскими, за другим – четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок; кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и еще больший беспорядок под ним;

Там делали такое ногами под столом,  
Что гром гремел, дрожало все кругом, –

как сказал Мольер.

Вот как обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб-гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тюильрийского дворца. Площадь Согласия, вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах, еще не совсем исчезнувшие в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:

Верните нам отца из Гента,  
Верните нашего отца.

Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; именно в те времена одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелому размышлению, ваше величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Просто-народе провинций беспокойно, а парижское – ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом и теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем – это добродушные каналы».

Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это бывает, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презираемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках, она являлась там воплощением свободы, и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом

свете. Это далеко не «добродушные каналы», как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу – то же, что афинянин по отношению к греку, никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и леность не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на любое проявление беспечности; но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику – и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье – и вы увидите Аустерлиц. Он – точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве – он вербует в солдаты; речь идет о свободе – он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны. Первую попавшуюся улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинское ущелье. Пробьет час, и этот обыватель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, и взгляд его станет грозным, дыханье станет подобным буре, и из этой жалкой тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет – в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! Пока его припев всего лишь «Карманьола», он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть «Марсельезу» – и он освободит весь мир.

Написав на полях донесения Ангlesa эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.

## Глава 6, в которой все обожают друг друга

Застольные речи и любовные речи! Те и другие одинаково неуловимы: любовные речи – это облака, застольные – клубы дыма.

Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье трубил в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фавуритка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:

– Блашвель, я обожаю тебя.

Это вызвало у Блашвеля вопрос:

– А что бы ты сделала, Фавуритка, если бы я тебя разлюбил?

– Я! – вскричала Фавуритка. – Ах, не говори этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бы бросилась на тебя, искусила, исцарапала, облила бы тебя водой, заставила тебя арестовать.

Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фавуритка продолжала:

– Да я бы попросту закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая!

Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.

Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила Фавуритку среди общего гама:

– Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?

– Я-то? Да я его ненавижу, – так же тихо ответила Фавуритка, снова берясь за вилку. – Он скупой. Я люблю мальчика, который живет против меня. Такой милый молодой человек. Ты не знаешь его? И сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Вот сейчас он начнет кричать. Голубчик, да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы и чуть не на самую крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает по двадцать су в день у одного адвоката, пишет

ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! Он до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я развожу тесто для блинчиков – руки у меня были все в тесте, – да и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Нет, только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова потерять голову из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелью, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья! – Фавуритка помолчала немного, потом продолжала: – Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого; и потом, погляди только, какая гадость, – мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете.

## Глава 7

### Мудрость Толомьеса

Пока одни пели, другие беспорядочно болтали; все голоса сливались в какой-то нестройный шум. Толомьес прервал его.

– Нечего нести вздор, да еще без передышки! – воскликнул он. – Для блестящей беседы надо обдумывать свои слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. Не спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться. Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать – замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном.

Глухой гул протеста раздался среди присутствовавших.

– Толомьес, оставь нас в покое, – сказал Блашвель.

– Долой тирана! – заявил Фамейль.

– Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! – вскричал Листолье.

– На то и воскресенье, – продолжал Фамейль.

– Мы совершенно трезвы, – добавил Листолье.

– Толомьес, – произнес Блашвель, – оцени мою канальскую выдержку.

– Да, поистине монканальмскую, – скаламбурил Толомьес.

Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.

– Друзья, – вскричал Толомьес тоном человека, вновь обретшего авторитет, – придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур – это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, и разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расплзшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, никак не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть, и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра. Моисей – по поводу Исаака, Эсхил – по поводу Полиника, Клеопатра – по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит – «поварешка». Установив это, возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в островах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфи-

арая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. Est modus in rebus<sup>21</sup>. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные оладьи, так не злоупотребляйте же ими. Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору – gula punit gulax. Расстройство пищеварения уполномочено господом богом читать мораль желудкам. И запомните вот что: каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя написать на всем слово finis<sup>22</sup>, нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирайте на замок свой аппетит, загоняйте в кутузку фантазию и отводите собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я, как-никак, занимался юридическими науками – а это подтверждают сданные мною экзамены, – из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по-латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав – это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген!

Фавуритка слушала с глубоким вниманием.

– Феликс! – сказала она. – Какое красивое слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит – Счастливцев.

Толомьес продолжал:

– Квириты, джентльмены, кабаллерос, друзья мои! Хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще! Рецепт таков: лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа; надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс из трав, не забудьте свинцовую пластинку, растворы из эссенции Сатурна и примочки из сахарной воды с уксусом.

– Я предпочитаю женщину, – сказал Листолье.

– Женщину! – подхватил Толомьес. – Берегитесь женщины! Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу! Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея – это ее конкурент.

– Толомьес, ты пьян! – вскричал Блашвель.

– И еще как! – сказал Толомьес.

– В таком случае будь весел, – продолжал Блашвель.

– Согласен, – отвечал Толомьес.

И, наполнив свой стакан, он встал.

– Слава вину! Nunc te, Vassche, sanam!<sup>23</sup> Прошу прощения у дам – это по-испански. И вот доказательство, сеньоры: каков народ – такова и посудина. Кастильская арроба вмещает шестнадцать литров, кантаро в Аликанте – двенадцать, альмуд Канарских островов – двадцать пять, куартин Балеарских островов – двадцать шесть, бочка царя Петра – тридцать. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он! Сударыни, дружеский совет: не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение! Ошибаться – неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того,

<sup>21</sup> Во всем должна быть мера (лат.). – Гораций, Сатиры.

<sup>22</sup> Конец (лат.).

<sup>23</sup> Ныне пою тебя, Вакх! (лат.)

чтобы ползать на коленях и доводить себя до отупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело падает в ошибки, это сладостное любовное приключение!

Кто-то сказал: «Человеку свойственно ошибаться»; я же говорю: влюбленному свойственно ошибаться. Сударыни, я боготворю вас всех. О Зефина, о Жозефина, ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается Фавуритки – о нимфы и музы! – как-то раз, переходя через канаву на улице Герен-Буассо, Блашвель увидел красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых, туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась Фавуриткой. О Фавуритка, у тебя ионические губы. Некогда существовал греческий живописец по имени Эвфорион, прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой рот. Слушай же! До тебя не было в мире существа, достойного этого имени. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву – это ты сотворила ее.

Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О Фавуритка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но, кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я не слишком счастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить обозначениям, которые они дают нам. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Далия, на вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина – умом. Я ничего не скажу о Фантине – это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная; это призрак, принявший образ нимфы и облекшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь гризетки, но ищет убежища в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает; это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем реальном мире! О Фантина, знай: я, Толомьес, – всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь химер! Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О Фантина, дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы – сама расцветающая заря. Сударыни, второй совет: не выходите замуж; замужество – это прививка: быть может, она окажется удачной, а быть может, и неудачной; избегайте этого риска. Впрочем, что я! О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы; и все, что можем сказать мы, мудрецы, не мешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так, но вот что вам надо запомнить, красавицы: вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар! О пол грызунов, твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар! Так вот, слушайте внимательно, сахар – это соль. Всякая соль сушит. А сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови; отсюда свертывание, а затем застой крови; отсюда бугорки в легких; отсюда смерть. И вот почему сахарная болезнь граничит с чахоткой. Итак, не грызите сахар, и вы будете жить! Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы. Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Как в кадрили, сходитесь, расходитесь с дамами. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде. Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть! Хорошенькая женщина – это *casus belli*<sup>24</sup>; хорошенькая женщина – это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал сабинянок, Вильгельм – саксонок, Цезарь – римлян. Человек, у кото-

<sup>24</sup> Повод к войне (лат.).

рого нет возлюбленной, как ястреб, парит над чужими любовницами; и что касается меня, то я обращаю ко всем этим несчастным бобылям великолепный клич Бонапарта, брошенный им итальянской армии: «Солдаты, у вас ничего нет. У врага есть все».

Толомьес остановился.

– Передохни, Толомьес, – сказал Блашвель.

И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фамейль дружно подхватили одну из тех песен мастеровых, с жалобным напевом, которые сложены из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения древесных веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая с ним вместе. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса:

Отцов-глупцов не в меру  
Снабжали прихожане,  
Чтобы Клермон-Тонеру  
Стать папою в Сен-Жане.  
Но кто родился шляпой,  
Вовек не будет папой.  
И у отцов-глупцов приход  
Забрал обратно весь доход.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса; он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал:

– Долой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей. Да здравствует процесс судебного разбирательства и процесс пищеварения. Пусть Юстиниан и Пирушка вступят в брак! О радость глубин! Живи, мироздание! Мир – это крупный бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом! Соловей – это бесплатный Элевью. Приветствую тебя, лето. О Люксембургский сад! О георгики, которые разыгрываются на улице Принцессы и в аллее Обсерватории! О задумчивые солдатики! О прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло, и родился колибри. Поцелуй меня, Фантина!

Он ошибся и поцеловал Фавуритку.

## Глава 8

### Смерть лошади

– А ведь у Эдона лучше кормят, чем у Бомбарды! – вскричала Зефина.

– Я предпочитаю Бомбарду, – заявил Блашвель. – Здесь больше роскоши. Больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами.

– Лучше б у них так сверкали тарелки, – возразила Фавуритка.

Блашвель настаивал на своем:

– Посмотрите на ножи. У Бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости.

– Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, – заметил Толомьес.

Он смотрел в эту минуту на купол Дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика. Наступило молчание.

– Толомьес! – вскричал Фамейль. – Только что у нас с Листолье был спор.

- Спор хорошая вещь, – ответил Толомьес, – но ссора лучше.
- Мы спорили о философах.
- Отлично.
- Ты кому отдаешь предпочтение – Декарту или Спинозе?
- Дезожье, – сказал Толомьес.

Вынеся это безапелляционное решение, он выпил и продолжал:

– Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молотить вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности высказывают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирают потайной ящичек с парадоксами. Знайте, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, – это мадера из виноградников, которые находятся на высоте трехсот семнадцати туаз над уровнем моря! Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его! Триста семнадцать туаз! А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туаз за четыре франка пятьдесят сантимов!

Тут его опять прервал Фамейль:

- Толомьес, твое мнение – закон. Кто твой любимый автор?
- Бер...
- ...кен?
- Нет... шу.

И Толомьес продолжал:

– Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне алмею, и с Тигелионом Керонейским, если бы раздобыл мне гетеру. Ибо знайте, о сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои Бомбарды. Мы знаем об этом от Апулея. Увы! Всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях творца! «Nil sub sole novum»<sup>25</sup>, – сказал Соломон; «Amor omnibus idem»<sup>26</sup>, – сказал Вергилий; и медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа – душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединились два противоположных женских типа: распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка.

Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега и оратор остановились как вкопанные. Это была старая и тощая кляча, вполне заслуживавшая места на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком Бомбарды, одёр, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь!», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием:

Ей был отчизной мир, где возу и карете  
Равно враждебен темный рок.  
И, разделив судьбу всех кляч на этом свете,

---

<sup>25</sup> Нет ничего нового под солнцем (*лат.*).

<sup>26</sup> Любовь у всех одна и та же (*лат.*) – Вергилий, Георгики.

Она сломилась, как цветок.

– Бедная лошадка! – вздохнула Фантина.

А Далия вскричала:

– Вот те на! Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Надо же быть такой дурой!

Тут Фавуритка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном:

– Ну, а где же сюрприз?

– Совершенно верно. Час пробил, – ответил Толомьес. – Господа, время удивить наших дам настало. Сударыни, обождите нас здесь несколько минут.

– Сюрприз начинается с поцелуя, – сказал Блашвель.

– В лоб, – добавил Толомьес.

Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй, потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам.

Фавуритка захлопала в ладоши.

– Это уже и сейчас интересно, – сказала она.

– Только не уходите надолго, – негромко проговорила Фантина. – Мы вас ждем.

## Глава 9 Веселый конец веселья

Оставшись одни, девицы по двое оперлись на подоконники и принялись болтать, высываясь из окон и перебрасываясь шутками.

Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка Бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, ежедневно наводняющей Елисейские поля.

– Возвращайтесь поскорее! – крикнула Фантина.

– Интересно знать, что они принесут нам? – сказала Зефина.

– Уж конечно, что-нибудь красивое, – ответила Далия.

– Мне бы хотелось, – сказала Фавуритка, – чтобы это было что-нибудь золотое.

Вскоре они загляделись на экипажи, проносившиеся по набережной, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело нагруженная и шумно гроыхающая колымага, бесформенная под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезающих голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, бешено врезалась в толпу; она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот содом веселил молодых девушек. Фавуритка восклицала:

– Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей.

Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину.

– Как странно! – сказала она. – Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути.

Фавуритка пожала плечами.

– Нет, эта Фантина просто поражает меня. Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пассажир и говорю



кондуктору дилижанса: «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни.

Так прошло некоторое время. Вдруг Фавуритка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна.

– Что же это? – произнесла она. – А сюрприз?

– Да, да, – подхватила Далия, – где же этот знаменитый сюрприз?

– Как долго их нет, – вздохнула Фантина.

Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то, похожее на письмо.

– Что это? – спросила Фавуритка.

Лакей ответил:

– Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа.

– Почему же вы не принесли ее сразу?

– Потому, – отвечал слуга, – что господа приказали передать ее вам не раньше чем через час.

Фавуритка быстро вырвала бумагу из его рук. Это и в самом деле было письмо.

– Странно! – сказала она. – Адреса нет. Но вот что здесь написано:

*«Это и есть сюрприз».*

Она поспешно распечатала письмо, развернула его и прочла (она умела читать):

*– «О возлюбленные!*

*Знайτε, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужья и жены называют нас блудными сыновьями; они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пять горячих коней уже будут мчать нас к папам и мамам. Выразаясь высоким слогом Боссюэ, мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальера. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна – это вы, о прекрасные наши малютки! Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка, возвращаемся рысью, со скоростью трех льв в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнесите же к нам с глубоким уважением. Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним то же. Прощайте.*

*Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом.*

*Подписались:*

*Блашвель.*

*Фамейль.*

*Листолье.*

*Феликс Толомьес.*

*Post-scriptum. За обед заплачено».*

Четыре девушки переглянулись.

Фавуритка первая нарушила молчание.

– Что ж! – воскликнула она. – Как-никак, это забавная шутка.

– Да, очень смешно, – подтвердила Зефина.

– Это, должно быть, выдумка Блашвеля, – продолжала Фавуритка. – Если так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история.

– Нет, – сказала Далия, – это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения.

– В таком случае, – возразила Фавуритка, – смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес!

– Да здравствует Толомьес! – подхватили Далия и Зефина.

И покатались со смеху.

Фантина смеялась вместе с остальными.

Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь; она отдалась Толомьесу, как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.

## Книга четвертая

### Доверить другому значит иногда бросить на произвол судьбы

#### Глава 1, в которой одна мать встречает другую мать

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопекоев. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым, и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: *«Ватерлооский сержант»*.

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей какого-нибудь трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, заграждавший улицу перед харчевней «Ватерлооский сержант», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок роспусков, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок этот состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживали два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей ту отвратительную бурю охру, которой часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо – под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь, достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, для которых она вполне могла служить путами; что-то в ней напоминало каторгу, но каторгу циклопическую и сверхчеловеческую; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, а Шекспир – Калибана.

Для чего же эти роспуски стояли здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее, а во-вторых – чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого никаких иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли, и в этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две маленькие девочки; одной было года два с половиной, другой – года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, какая-то мать увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой – темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овеивал прохожих своим благоуханием, и казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими нежными

головками, осиянными счастьем и окропленными светом, высился гигантский передок телеги, весь почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в какую-то пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малытки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, и ничто не могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов.

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

– Так надо, – рыцарь говорил...

Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

– Прекрасной, нежной Иможине, –

ответила мать, продолжая свой романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок.

Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с двумя другими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевом, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был чудесно розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малытки, словно яблочки, вызвали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

Что касается матери, то она казалась печальной. Ее убогая одежда выдавала в ней работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким и завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, давно уже не просыхали от слез. Она была бледна; у нее был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, сложенный косынкою, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками, и кожа на исколотом иглой указательном пальце сильно огрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней повнимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, безумства и музыки, – наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как те блестящие звездочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается черная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Оказавшись покинутой, Фантина сразу узнала нужду. Она сейчас же потеряла из вида Фавуритку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для нее уже не было больше никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал – увы, подобные разрывы всегда бесповоротны, – она оказалась совершенно одинокой, причем привычка ее к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне ее научили только подписывать свое имя; она обратилась к уличному писцу, который и написал по ее поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь принимает всерьез таких детей? Пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не принимал всерьез это невинное создание, и сердце ее ожесточилось против этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она смутно почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль-Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжелой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием пред невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева употребила на дочь – единственный оставшийся у нее повод для тщеславия, на сей раз святого. Она продала все, что имела, и получила за это двести франков; после уплаты разных мелких долгов у нее осталось очень мало – около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда в прекрасное весеннее утро она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надоевало ей грудь, и она немного покашливала.

Нам не придется больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи-Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая для отдыха часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопеков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Эти две девочки очаровали эту мать.

Она смотрела на них глубоко взволнованная. Присутствие ангелов возвещает близостьрая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что, когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня.

Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье перед дверью; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.

– Меня зовут госпожа Тенардье, – сказала мать двух девочек. – Мы с мужем держим этот трактир.

И, вернувшись к своему романсу, она снова замурлыкала:

– Так надо, – рыцарь повторил, –  
Я уезжаю в Палестину.

Мамаша Тенардье была рыжая, плотная и неуклюжая женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. И странная вещь – на лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, с самого начала испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие, и тогда не случилось бы того, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял – вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.

Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее.

Она работница; муж ее умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла только сегодня утром, но она несла на руках ребенка, поэтому она устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять брела пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало – она ведь еще такая крошка. Пришлось снова взять ее на руки, и ее сокровище уснуло.

Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть... На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то что мать удерживала ее, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.

Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала:

– Поиграйте втроем.

В этом возрасте легко осваиваются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.

Эта гостя оказалась очень веселой; веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок.

Женщины продолжали беседу.

– Как зовут вашу крошку?

– Козетта...

Козетта – читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали одну бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.

– Сколько ей?

– Скоро три.

– Как моей старшей.

Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство; произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк – сколько страха и сколько счастья!

Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.

– Как быстро сходится эта детвора! – вскричала мамаша Тенардье. – Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!

Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила Тенардье за руку, впилась в нее взглядом и сказала:

– Согласны вы оставить у себя моего ребенка?

Тенардье сделала изумленное движение, не означавшее ни согласия, ни отказа.

Мать Козетты продолжала:

– Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа этого не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне так и перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать». Да, да, пусть они будут как три сестры. И к тому же я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?

– Надо будет подумать, – ответила Тенардье.

– Я стала бы платить по шесть франков в месяц.

Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни:

– Не меньше семи франков. И за полгода вперед.

– Шестью семь сорок два, – сказала Тенардье.

– Я заплачу, – согласилась мать.

– И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, – добавил мужской голос.

– Всего пятьдесят семь франков, – сказала г-жа Тенардье, сопровождая свой подсчет все той же песенкой:

– Так надо, – рыцарь говорил...

– Я заплачу, – сказала мать, – у меня есть восемьдесят франков. Мне еще хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь сюда за моей дорогой крошкой.

– Есть у девочки одежда? – раздался снова мужской голос.

– Это мой муж, – сказала Тенардье.

– Разумеется, есть, у нее целое приданое, у дорогой моей бедняжки. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шелковые платица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.

– Вам придется отдать все это, – снова сказал мужской голос.

– А как же иначе! – удивилась мать. – Вот было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!

Хозяин просунул голову в дверь.

– Ладно, – сказал он.

Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка; она снова завязала свой дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и наутро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. На такую разлуку с виду решаются спокойно, душа же полна отчаянья.

Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с этой матерью и, придя домой, сказала:

– Я только что встретила женщину, которая так плакала, что просто сердце разрывалось.

Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:

– Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватило пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девочек.

– А ведь я и думать об этом не думала, – ответила жена.

## Глава 2

### Беглая характеристика двух темных личностей

Пойманная мышка была очень щедра, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.

Что представляли собой эти Тенардье?

Пока что скажем о них только два слова. Мы дополним этот набросок несколько позже.

Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, – к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе некоторые недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.

Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если случайно их подогреет какое-нибудь злое пламя. В характере жены таилось животное начало, в характере мужа – прирожденная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая осуществляется лишь в сторону зла. Есть души, подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье.

Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардье. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказан-



ное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете темные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем.

Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом – сержантом, как он говорил, – по-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его военных подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, – и намалевал скверно.

То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от «Клелии» к «Лодоиске» и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от мль де Скюдери к г-же Бурнон-Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартеlemi-Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и даже распространял свое разрушительное действие на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. Она топила в них свой последний разум; именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась несколько мечтательной рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какие премудрости, за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сантиментов – почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримерным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать-пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда ее романтически спускающиеся локоны начали сесть, когда в Памеле проглянула мегера, Тенардье превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Что до младшей, то бедняжку чуть было не называли Гюльнаррой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Дюкре-Дюминилля, она отделалась именем Азельма.

Впрочем, упомянем мимоходом, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и призрак социального характера. В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта – если еще существуют виконты – зовут Томá, Пьером или Жаком. Это перемещение имен, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» – аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое проникновение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.

### Глава 3 Жаворонок

Чтобы благоденствовать, еще недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.

Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы супругу Тенардье удалось избежать протеста векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственным образом. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбочки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря – в лохмотья. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки.

Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардьё, справляясь о своем ребенке. Тенардьё неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».

Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги из месяца в месяц. Не прошло и года, как Тенардьё сказал: «Можно подумать, что она благодетельствовала нас! Что для нас значат ее семь франков?» И он написал ей, требуя двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и «растет отлично», покорилась и стала присылать по двенадцать франков.

Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардьё страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Печально думать, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы. Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардьё, той все казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует воздух, принадлежащий ее дочерям. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее Козетты, ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардьё доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое созданище! Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.

Тенардьё дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте – копия матери. Формат меньше, вот и вся разница.

Прошел год, потом другой.

В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардьё. Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»

Все думали, что мать бросила Козетту.

Между тем папаша Тенардьё, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребенок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» все растет и *ест*, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! – восклицал он. – Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить по пятнадцать франков.

Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе.

Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух других девочек; как только она немножко подросла – то есть едва достигнув пятилетнего возраста, – она стала служанкой в доме.

– В пять лет! – скажут нам. – Да ведь это неправдоподобно!

Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не знаем о недавнем процессе некоего Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал».

Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардьё тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле-Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.

Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы ни за что не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой,

была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» – говорили про нее Тенардые.

Несправедливость сделала ее угрюмой, а нищета – некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, казалось, не могло бы уместиться столько печали.

Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в старых дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.

В околотке ее прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое созданище, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.

Только этот бедный жаворонок никогда не пел.

## **Книга пятая**

### **По наклонной плоскости**

#### **Глава 1**

#### **Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла**

Что же, однако, случилось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала?

Оставив свою маленькую Козетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль-Приморский.

То было, как мы помним, в 1818 году.

Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател.

Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием.

Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше – подчеркнуть его.

Монрейль-Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности – имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль-Приморский, в производстве «черного стеклянного товара» совершились неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому не известный человек, которому пришла мысль заменить при изготовлении этих изделий древесную смолу камедью и, в частности при выделке браслетов, заменить кованые металлические застёжки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию.

В самом деле, это ничтожное изменение в огромной степени снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих – благодеяние для края, во-вторых – улучшить выделку товара – выгода для потребителя, в-третьих – дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, – выгода для фабриканта.

Итак, одна идея дала три результата.

Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател – что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя – что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении; сведения о его прошлом были самые скудные.

Говорили, что, когда он пришел в город, у него было очень мало денег – самое большее несколько сот франков.

Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края.

Когда он появился в Монрейле-Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего.

По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в маленький городок Монрейль-Приморский, здание ратуши было внезапно охвачено сильным пожаром. Незнакомец бросился в огонь

и, рискуя жизнью, спас двоих детей, которые оказались детьми жандармского капитана; по этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали *дядюшка Мадлен*.

## Глава 2

### Мадлен

Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать.

Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности, которую он так изумительно преобразовал, Монрейль-Приморский стал значительным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монрейль-Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские: одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда с полной уверенностью, что получит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин хорошего поведения, от тех и других – честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем большие основания, что Монрейль-Приморский, как гарнизонный город, был местом, полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он – даром провидения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку; теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могучий деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег; не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости.

Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного:

«Будь честным человеком! Будь честной женщиной!»

Как мы уже сказали, посреди всей этой кипучей деятельности, источником и главным двигателем которой был дядюшка Мадлен, он богател и сам, но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году, это все знали, у Лафита на его имя было помещено шестьсот тридцать тысяч франков, но, прежде чем отложить для себя эти шестьсот тридцать тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных.

Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль-Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была только одна школа – жалкая лачуга, грозившая развалиться; он построил две новых – одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалованье; и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: «Самые важные чиновники в государстве – это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют – учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу вспомоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей; он открыл там бесплатную аптеку.

В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили: «Это хитрец, который хочет разбогатеть». Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали: «Это честолюбец». Последнее казалось тем более вероятным, что человек этот был религиозен и даже до известной степени соблюдал

обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он аккуратно ходил к ранней обедне. Его набожность не замедлила встревожить местного депутата, которому повсюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена Империи в Законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше, – герцога Отрантского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над богом. Однако, узнав, что богатый фабрикант Мадлен ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его; он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне и к вечерне. В те времена честолюбцы добивались у бога земных благ земными поклонами. От этого страха перед соперником выиграл не только господь бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек, с прежними их стало двенадцать.

Но вот в 1819 году однажды утром в городе распространился слух, что по представлению г-на префекта и ввиду заслуг, оказанных краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монрейля-Приморского. Лица, назвавшие пришельца честолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать: «Ага! А мы что говорили?» Весь город заволновался. Слух оказался обоснованным. Несколько дней спустя назначение появилось в «Монитере». На следующий день Мадлен от него отказался.

В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу, изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку; согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новое волнение в городе. «Так вот чего он хотел! Орденского креста!» Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста.

Решительно, этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав: «В таком случае это какой-то авантюрист».

Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем; он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его; рабочие его фабрики просто преклонялись перед ним, и он принимал их преклонение с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, «люди из общества» начали раскланиваться с ним и в городе его стали называть «господин Мадлен»; рабочие и детвора по-прежнему звали его «дядюшка Мадлен», и это обращение вызывало у него самую добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. «Общество» заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монрейля-Приморского, которые, разумеется, в свое время были закрыты для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему была сделана тысяча лестных предложений. Он отклонил их.

Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. «Это невежественный и невоспитанный человек. Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное, не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоты».

Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали: «Это торгаш». Когда он начал сорить деньгами, про него сказали: «Это честолюбец». Когда он оттолкнул от себя почести, про него сказали: «Это авантюрист». Когда он оттолкнул от себя общество, про него стали говорить: «Это грубиян».

В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монрейле-Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался, но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились просить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, настояния были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение, пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простонародья, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки: *«От хорошего мэра может быть большая польза. Как не совестно идти на попятную, если выпал случай сделать добро?»*

Это была третья фаза его восхождения. Дядюшка Мадлен превратился в господина Мадлена; господин Мадлен превратился в господина мэра.

### Глава 3

#### Суммы, депонированные у Лафита

Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и вначале. У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему учтивостей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избежать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Что за славный медведь!» – говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям.

Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу, которую читал. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги; книги – это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того как вместе с богатством увеличивались и его досуги, он, видимо, старался употребить их на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор как он поселился в Монрейле-Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми.

Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случилось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно. Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в птиц.

Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса. Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался: поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо, останавливал, схватив за рога, вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревни, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек.

Можно было предположить, что когда-то он жила в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу раствором поваренной соли, и выгонять долгоносиков, развешивая повсюду: на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах – пучки шалфея в цвету. У него были «рецепты», как выводить с полей куколь, журавлиный горох, лисий хвост – все сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят.

Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы; взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал: «Завяла. А ведь, если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья – вкусная зелень, а в старой крапиве – такие же волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птице, а толченая – хороша для рогатого скота. Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли и никаких забот и ухода. Правда, семя ее по мере созревания осыпается, и собрать его бывает нелегко. Вот все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной; ею пренебрегают, и она становится вредной. Тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву! – И после минутного молчания он добавил: – Запомните, друзья мои: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только дурные хозяева».

Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.

Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда; похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце; он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священниками, молящимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным псалмам, полным видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью.

Он творил множество добрых дел тайком, как обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил вдруг дверь отпертой, а иной раз даже взломанной. «Здесь побывали воры!» – восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него «вором» оказывался дядюшка Мадлен.

Он был приветлив и печален. Народ говорил: «Вот богач, а совсем не гордый. Вот счастливец, а с виду невеселый».

Некоторые предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой настоящую монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрещенные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жительниц Монрейля-Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили: «Господин мэр, покажите нам вашу спальню. Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту «пещеру». Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной мебелью из красного дерева, довольно некрасивой, как и вся мебель такого сорта, и оклеенная обоями по двенадцать су за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам, были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, по-видимому, серебряных, «потому что на них имелась проба». Замечание, которое было вполне в духе провинциального городка.

Люди тем не менее продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату и что это келья отшельника, молчальня, могила, склеп.

Шушукались также о том, что у него имеются «колоссальные» суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время. «Так что, – добавляли кумушки, – господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три миллиона». В действительности, как мы уже говорили, эти «два или три миллиона» сводились к сумме в шестьсот тридцать или шестьсот сорок тысяч франков.

## Глава 4 Господин Мадлен в Трауре

В начале 1821 года газеты возвестили о смерти диньского епископа г-на Мириэля, прозванного *монсеньором Бьенвено* и почившего смертью праведника в возрасте восьмидесяти двух лет.

Диньский епископ – добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, – ослеп за несколько лет до кончины, но не печалился о своей слепоте, так как сестра его была рядом.

Заметим мимоходом, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым – это поистине одна из самых странных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуж-



даетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне»; видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня; каждую минуту проявлять свою собственную нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел, – все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни – это уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, вернее сказать – любят вопреки вам; этой-то уверенностью и обладает слепой. В такой скорби видеть заботу о себе – значит видеть ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью! Любовью, целиком сотканной из добродетели. Там, где есть уверенность, кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И эта найденная и испытанная душа – женщина. Чья-то рука поддерживает вас – это ее рука; чьи-то уста прикасаются к вашему лбу – это ее уста; совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание – это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, никогда не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнибнущий тростник, касаться своими руками провидения и брать его в объятия – боже великий, какое блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами; если она удаляется, то лишь затем, чтобы снова вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, – это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг; вы – сияние посреди ночи. А тысяча мелких забот! Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, самые неуловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме.

Из этого-то рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай.

Извещение о его смерти было перепечатано местной монрейльской газетой. На следующий день г-н Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе.

В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение г-на Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по диньском епископе», – говорили в салонах; это предположение сильно повысило г-на Мадлена в глазах монрейльской знати, и все немедленно прониклось к нему уважением. Микроскопическое сен-жерменское предместье городка решило снять карантин с г-на Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. г-н Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького «большого света», считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него:

– Скажите, господин мэ́р, покойный диньский епископ был, вероятно, в родстве с вами?

– Нет, сударыня, – ответил он.

– Почему же вы носите по нем траур? – снова спросила старушка.

– Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме, – ответил он.

Было замечено еще одно обстоятельство: каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, г-н мэ́р звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебивало очень много.

## Глава 5

### Смутные вспышки молний

Мало-помалу и с течением времени всякая неприязнь утихала. Вначале г-н Мадлен, согласно неписаному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем исчезло и это; уважение сделалось полным, искренним, единоклубным, и, наконец, настало время – это было около 1821 года, – когда слова «господин мэр» произносились в Монрейле-Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова «монсеньор епископ» произносились в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы посоветоваться с г-ном Мадленом. Он решал споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая, переходя в течение шести-семи лет от одного к другому, наконец охватила весь край.

Один только человек в городе и во всем округе оставался чужд этой болезни и, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, не поддавался ей, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. Казалось, в некоторых людях и в самом деле таится животный инстинкт; природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он подсказывает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе; он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется никаким советам разума, никакому разлагающему воздействию рассудка и, независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно уведомляет человека-собаку о близости человека-кошки и человека-лису – о близости человека-льва.

Нередко, когда г-н Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпавый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготе серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался ему вслед и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду; потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он поджимал губы к самому носу – многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так: «Кто такой этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет».

Этот суровый, почти угрожающе суровый человек принадлежал к числу тех людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу.

Его звали Жавер, и он служил в полиции.

В Монрейле-Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции г-на Шабулье, секретаря графа Ангlesa – министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жавер появился в Монрейле-Приморском, Мадлен успел уже стать крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена.

У некоторых полицейских чиновников бывают какие-то своеобразные лица: выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала.

Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно – соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира; и это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что – от устрицы до орла, от свиньи до тигра – все животные таятся в людях, и каждое в отдельности – в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном одновременно.

Животные суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные – это всего лишь тени, то бог не одарил их восприимчивостью к воспитанию в полном смысле этого слова; да и к чему им она? Наши же души, напротив, существуя реально и обладая конечной своей целью, получили от бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит.

Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предreshает сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем.

Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится какой-то представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский чиновник Жавер.

Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, выросши, он непременно сожрал бы остальных волчат.

Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер.

Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Выросши, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей: тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет; у него был выбор только между этими двумя классами; в то же время он чувствовал в себе какие-то задатки моральной стойкости, порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к той цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию. И преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем.

В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, давайте уточним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу.

Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чаши и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен: тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расползались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер бывал серьезен, это был дог; когда он смеялся, это был тигр. Далее: узкий череп, массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездообразная неизгладимая морщина, словно печать гнева, мрачный взгляд, злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий.

Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, – из уважения к власти и из ненависти к бунту; а в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями того же бунта. Он был проникнут какой-то слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, начиная от первого министра и кончая сельским стражником; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем тем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: «Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает не прав». О вторых он говорил: «Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может». Он целиком разделял крайние убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать этих демонов и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив,

скромен и надменен, как все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах: следить и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире; он верил в полезность своего дела, свято чтит свои обязанности, он был шпионом, как бывают священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки! Он арестовал бы родного отца за побег с каторги и донес бы на родную мать, уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с тем чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим – жизнь, полная лишений, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга, полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщик, изваянный из мрамора, Брут в шкуре Видока – вот что такое был Жавер.

Вся его особа изобличала человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой, вы не видели его глаз, исчезавших под бровями, вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке, вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами, вы не видели его палки, которую он носил под полой редингота. Но вот приходила надобность – и изо всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, злобещий взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка.

В свободные свои минуты, которые выпадали не часто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи.

Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством.

Легко понять, что Жавер был грозой для того разряда людей, который в ежегодном статистическом отчете министерства юстиции значится под рубрикой: *Темные личности*. При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение.

Таков был этот страшный человек.

Жавер был недреманным оком, постоянно устремленным на г-на Мадлена. Оком, полным догадок и подозрений. В конце концов г-н Мадлен заметил это, но, видимо, не придавал этому никакого значения. Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его; казалось, он с полным равнодушием выносил этот тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно.

По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что, побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно занимался поисками следов, какие только мог оставить дядюшка Мадлен за собой в прошлом. Очевидно, ему удалось узнать – и иногда он намеками говорил об этом, – что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе. Как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой: «Теперь, кажется, он в моих руках!» После этого целых три дня он ходил, задумавшись, и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась.

Впрочем, в человеческом существе нет ничего непогрешимого – такова необходимая поправка к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным, – и сущность инстинкта состоит именно в том, что он может поколебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом и животное оказалось бы умнее человека.

Очевидно, Жавер был немного сбит с толку полнейшей естественностью и спокойствием г-на Мадлена.

Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на г-на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах.

## Глава 6

### Дедушка Фошлеван

Как-то утром г-н Мадлен шел по одному из немощеных монрейльских переулков. Вдруг он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей. Он подошел к ним. У старика крестьянина, которого звали дядюшка Фошлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой.

Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались у г-на Мадлена в это время. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком.

При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие стоны. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок – и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом – приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом.

Но вот подошел г-н Мадлен. Все почтительно расступились.

– Помогите! – кричал старик Фошлеван. – Добрые люди, спасите старика!

Господин Мадлен обратился к присутствующим:

– Нет ли домкрата?

– За ним пошли, – отвечал один крестьянин.

– А скоро его сюда доставят?

– Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу, но на это понадобится добрая четверть часа.

– Четверть часа! – вскричал Мадлен.

Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой все глубже уходила в грунт и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра.

– Нельзя ждать четверть часа, – сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг.

– Ничего не поделаешь!

– Да ведь будет уже поздно! Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?

– Как не видеть!

– Послушайте, – продолжал Мадлен, – пока еще под телегой довольно места, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем? Кто хочет заработать пять луидоров?

Никто в толпе не сдвинулся с места.

– Десять луидоров, – сказал Мадлен.

Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал:

– Тут нужна дьявольская сила. И рискуешь, что тебя самого придавит!

– Ну же! – настаивал Мадлен. – Двадцать луидоров!

Прежнее молчание.

– Желания-то у них хватает, – произнес чей-то голос.

Господин Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил его, когда подошел.

– А вот силы не хватает, – продолжал Жавер. – Чтобы сделать подобную вещь, поднять на спине такую телегу, как эта, надо быть страшным силачом. – И, пристально глядя на г-на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово: – Господин Мадлен, в своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете.

Мадлен вздрогнул.

Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена взгляда, Жавер добавил:

– Это был один каторжник.

– Вот как! – отозвался Мадлен.

– Каторжник из Тулонской тюрьмы.

Мадлен побледнел.

Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил:

– Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Домкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!

Мадлен оглядел толпу.

– Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику?

Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал:

– В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это тот каторжник.

– Ох! Сейчас меня раздавит! – крикнул старик.

Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он был уже под телегой.

Наступила страшная минута ожидания и тишины.

На глазах у всех Мадлен, почти плашмя лежа под чудовищным грузом, дважды попытка подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен! Вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен! Уходите! Видно, уж мне на роду написано так умереть! Оставьте меня! Не то вас и самого задавит!» Мадлен ничего не отвечал.

Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги.

Вдруг вся эта громада пошатнулась, телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос: «Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последние силы.

Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен.

Мадлен встал на ноги. Он был смертельно-бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и называл самым господом богом. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.

## Глава 7

### Фошлеван становится садовником в Париже

Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в самом здании его фабрики; уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена: «Я поку-

паю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Фошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями сестер и местного священника, г-н Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент-Антуан в Париже.

Вскоре после этого случая г-н Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел г-на Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой своего хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к г-ну мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение.

На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле-Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее знаменательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства имеется один непогрешимый барометр: это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налога сократились в Монрейльском округе на три четверти, благодаря чему г-н де Виллель, тогдашний министр финансов, часто приводил этот округ в пример другим.

Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым, она не могла проявить в нем особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого; главная задача была разрешена: она жила своим трудом.

## Глава 8

### Госпожа Виктюрьен тратит тридцать пять франков во имя нравственности

Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, ее охватила радость. Жить честным трудом – какая милость неба! И в самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем и зажила почти счастливо. Она сняла маленькую комнатку и обмобилировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок; в этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни.

Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке.

В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье. Но писать она не умела, научившись только подписывать свое имя, поэтому ей приходилось для переписки с ними обращаться к общественному писцу.

Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали тихонько поговаривать о том, что Фантина «пишет письма» и что она «завела пашни».

Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки меньше всего касаются. «Почему этот господин выходит только в сумерках? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому? Почему она посы-

лает за почтовой бумагой, когда дома у нее «полным-полно» этой бумаги?» И т. п., и т. п. Есть особы, которые, ради того чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел; и все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать. Из непреодолимой потребности разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизни, к великой радости того, кто «раскрыл все» без всякой выгоды для себя, повинувшись одному лишь инстинкту. И это очень печально.

Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камины, быстро пожирающие дрова; они требуют много топлива, а топливо – это ближний.

Итак, за Фантиной стали наблюдать.

При этом многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам.

Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то.

Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, – мучительный и трудный процесс.

Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать и адрес: «Милостивому государю, господину Тенардьё, трактирщику в Монфермейле». Выпытали все в кабачке у общественного писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина, без того чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантины есть ребенок. «Судя по всему, это шлюха». Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардьё и, вернувшись, сказала: «Я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка!»

Кумушка, проделавшая это, была мегера по имени г-жа Виктюрьнен, блюстительница и опекушка всеобщей добродетели. г-же Виктюрьнен было пятьдесят шесть лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, но когда-то эта женщина была молода. В молодости, в разгаре 93-го года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была сухая, злая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть своего покойника монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Это была черная душонка, отдававшая чернецом. Во время Реставрации она стала святошей, и столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась земляца, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Аррасском епископстве. Вот эта-то самая г-жа Виктюрьнен съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка».

На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг, однажды утром, надзирательница мастерской вручила ей от имени г-на мэра пятьдесят франков и, заявив, что она уволена, посоветовала ей, также от имени г-на мэра, уехать из города.



Это случилось именно в тот месяц, когда супруги Тенардые, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати.

Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она ушла из мастерской и вернулась в свою комнату. Итак, теперь ее проступок был известен всем.

Она почувствовала себя не в силах защищаться дальше. Кто-то посоветовал ей повидать г-на мэра; она не посмела. г-н мэр дал ей пятьдесят франков, потому что он был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорила этому приговору.

## Глава 9

### Торжество госпожи Виктюрьен

Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась.

Между тем сам г-н Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств! г-н Мадлен, как правило, почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил некую старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, умея оделять подаванием, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. г-н Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная полной властью и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину.

Что до пятидесяти франков, то она взяла их из суммы, которая была предоставлена г-ном Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работницам.

Фантина стала искать места служанки; она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель – и какую мебель! – сказал ей: «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков.

Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая по двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардые.

Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свою свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за уменьем жить малым идет уменье жить ничем. Это как бы две комнаты: в первой темно, во второй непроглядный мрак.

Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, а одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су некоторые слабые создания, состаривши-

еся в честности и в нужде. В конце концов такое умение становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и немного приободрилась.

В этот период своей жизни она как-то раз сказала соседке: «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Ну что ж! Страдания, тревога и кусочек хлеба, с одной стороны, огорчения – с другой, все это вполне насытит меня».

Видеть возле себя Козетту было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка разделять ее лишения? И потом она ведь должна Тенардье! Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу! Где взять их?

Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать: *Маргарита*, если была в этом надобность, но верившая в бога, что является высшей ученостью.

Внизу, на дне, есть много таких праведниц: когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое «завтра».

В первое время Фантина испытывала такой стыд, что не решалась выйти из дому.

Когда она шла по улице, ей казалось, что люди оборачиваются ей вслед и показывают на нее пальцем; все смотрели на нее, но никто не здоровался; едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра.

В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас по крайней мере никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как бы Фантине хотелось вернуться в Париж! Но это было невозможно.

Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два или три она отбросила стеснение и начала выходить как ни в чем не бывало. «Мне все равно», – говорила она. И шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной.

Госпожа Виктюрье иногда видела из окна Фантину, когда та проходила мимо, замечала жалкое состояние «этой твари», поставленной благодаря ей «на надлежащее место», и торжествовала. У злых людей – свои, подлые, радости.

Непосильная работа утомляла Фантину, и легкий сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке: «Пощупайте, какие у меня горячие руки».

И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.

## Глава 10

### Последствия торжества

Она была уволена с фабрики в конце зимы; прошло лето, и снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня, вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо – словно отдушина, а день – как темный подвал. У солнца нищенский вид. Ужасное время года! Зима все превращает в камень – и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя.

Она зарабатывала слишком мало. Долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами, содержание которых приводило ее в отчаянье, а уплата за них почтовых сборов просто разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта

ходит в эти холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив это письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к одному цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула гребень из прически. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса.

– Какие замечательные волосы! – вскричал цирюльник.

– А сколько бы вы дали мне за них? – спросила она.

– Десять франков.

– Стригите.

Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье.

Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине. Бедный Жаворонок продолжал дрогнуть от холода.

Фантина думала: «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженую голову, и все еще была красива.

Черное дело свершалось в сердце Фантины. Лишившись отрады расчесывать свои волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену; однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее несчастий, она начала ненавидеть и его – его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь.

Услыхав однажды это пение и этот смех, одна старуха работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо кончит».

И вот, с бешенством в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, какой-то бродячий музыкант, проходимец; он бил ее и вскоре бросил с таким же отвращением, с каким она сошлась с ним.

Она обожала своего ребенка.

Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого маленького ангела. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной» – и смеялась от радости. Кашель больше не покидал ее, и она часто вся обливалась потом.

Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет».

Фантина громко расхохоталась и сказала старухе соседке: «Они сошли с ума! Сорок франков! Сколько это? Два наполеондора! Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!»

Однако она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз.

Потом она спустилась с лестницы и вприпрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать.

Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее: «С чего это вы так развеселились?»

Она ответила: «Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово – крестьяне!»

Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.

Фантина вешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул: «Эй ты, хохотунья, у тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый».

– Что это еще за резцы у меня? – спросила Фантина.

– Резцы, – важно отвечал зубной лекарь, – это передние зубы. Два верхних зуба.

– Какой ужас! – вскричала Фантина.

– Два наполеондора! – прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. – И выпадает же людям счастье!

Фантина убежала и закрыла уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:

– Поразмысли, красотка! Два наполеондора не валяются на улице. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.

Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.

– Вы только представьте себе! Это просто какой-то изверг. И как только подобным людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы! Какое чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».

– И сколько он тебе предложил? – спросила Маргарита.

– Два наполеондора.

– Это сорок франков.

– Да, – сказала Фантина, – это сорок франков.

Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.

Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:

– Скажите, вы не знаете, что это такое – сыпная горячка?

– Знаю, – ответила престарелая девица, – это такая болезнь.

– И на нее требуется много лекарств?

– О да. Страшно много.

– А что при этом болит?

– Да все болит, все тело.

– И к детям она, значит, тоже пристаёт?

– О, к детям-то всего чаще.

– А бывает ли, чтобы от нее умирали?

– Сколько угодно, – ответила Маргарита.

Фантина вышла на улицу и еще раз перечитала письмо.

Вечером она вышла из дому, и люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.

На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она совсем не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, и от нее остался лишь маленький огарок.

Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге и вскричала:

– Господи помилуй! Вся свечка сгорела! Видно, случилось что-то недоброе!

И она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженую голову.

За эту ночь Фантина постарела на десять лет.

– Иисусе! – изумилась Маргарита. – Что это такое с тобой случилось, Фантина?

– Ничего, – ответила Фантина. – Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.

С этими словами она показала старой деве на два наполеондора, блестевшие на столе.

– Господи Иисусе! – снова вскричала Маргарита. – Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?

– Достала, – ответила Фантина.

И она улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.

Два передних зуба были вырваны.

Она послала в Монфермейль сорок франков.

А между тем со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта не была больна.

Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже сгибая спину. У Фантины уже не было кровати, у нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький розан засох. Глиняный кувшин из-под масла, в другом углу, теперь служил для воды; зимой вода замерзала, и разный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фантина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может, из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки, и это было заметно по особым некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы делали ей сцены и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее были теперь очень блестящие, и она ощущала постоянную боль в спине, у верхушки левой лопатки. Она сильно кашляла. Она глубоко ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг один подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к девяти су. Семнадцать часов работы за девять су! Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее обратно почти всю обстановку, без конца повторял: «Когда же ты мне заплатишь, негодная?» Господи боже! Чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, и в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Около этого времени Тенардье написал ей, что он положительно был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и немедленно; в противном случае он вышвырнет маленькую Козетту, хотя она только еще оправляется от тяжелой болезни, на холод, на улицу, а там – будь что будет, пусть околевает, это ее дело. «Сто франков, – подумала Фантина. – Но разве есть ремесло, при котором можно заработать сто су в день?»

– Ну что ж! – сказала она. – Продадим остальное.

И несчастная стала публичной женщиной.

## Глава 11

### Christus nos liberavit<sup>27</sup>

Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.

У кого? У нищеты.

У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение.

Святой завет Иисуса Христа руководит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что рабство упразднено европейской цивилизацией. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, и имя его – проституция.

Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и притом величайший позор.

В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает; она обесчещена и сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все то, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорилась судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится. Пусть разверзнутся над ней хляби небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан! Что ей до того? Она – как губка, насыщенная до предела.

Так по крайней мере кажется ей самой, но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу и что чаша его выпита до дна.

Увы! Что же представляют собой все эти судьбы, беспорядочно толкаемые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные?

Тот, кому ведомо сие, видит весь этот мрак.

Он один. Имя его – бог.

## Глава 12

### Досуг господина Баматабуа

Во всех маленьких городках, а в частности и в Монрейле-Приморском, всегда имеется особая порода молодых людей, которые в провинции проедают свои полторы тысячи ливров ренты с таким же видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов, – это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума; люди, которые в гостиную показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят: «Мои луга, мои леса, мои крестьяне», освистывают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задевают гарнизонных офицеров, чтобы доказать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазят на приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кафе, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, торгуются из-за гроша, утрируют моду, восхищаются трагедией, презируют женщин, донашивают до дыр свои старые сапоги, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа,

---

<sup>27</sup> Христос наш спаситель (лат.).

и Парижу, глядя на него сквозь призму Понт-а-Мусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят.

Господин Феликс Толомьес, несомненно, был бы одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже.

Будь они богаче, про них сказали бы: «Это щеголи». Будь они победнее, про них сказали бы: «Это лодыри». Но, в сущности говоря, это просто тунеядцы. Среди таких тунеядцев есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели; попадают и негодяи.

В те времена щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, одетых один на другой, причем синий и красный надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и доходящих до самых плеч, а также из более светлых, оливковых же, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов, менявшихся от одного до одиннадцати – предел, которого никто не преступал. Присоедините к этому полусапожки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями, волосы, взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами Потье. Вдобавок ко всему – усы и шпоры. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц, а шпоры – пешеходов.

У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее.

Это происходило во времена борьбы южноамериканских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морильо. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались «морильо»; либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название «боливаров».

Месяцев через восемь или десять после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года, вечером, на улице, покрытой только что выпавшим снегом, один из этих франтов, из этих бездельников – человек «благонамеренный», ибо голова у него была увенчана «морильо», закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, – забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье и с цветами на голове перед витриной офицерской кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды.

Всякий раз, как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например: «Вот так уродина! Да уберешься ли ты наконец? Эх ты, беззубая!» И т. п., и т. п. Имя этого франта было господин Баматабуа. Женщина, унылое разряженное привидение, сновавшее взад и вперед по снегу, не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча, с мрачной настойчивостью, продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало шалопая, и, воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, заглушая смех, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья, между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикий вопль, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим от водки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно недоставало двух передних зубов. То была Фантина.

На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался широкий круг зрителей, которые хохотали, гикали и били в ладоши; мужчина отбивался, шляпа его упала на землю, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженная, вся посиневшая, страшная.

Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину за лиф ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал: «Иди за мной».

Женщина подняла голову, и ее истощенный крик внезапно оборвался. Глаза ее остеклели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса. Она узнала Жавера. Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул.

## **Глава 13**

### **Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции**

Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и крупным шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Туча зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия.

Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату со стеклянной зарешеченной дверью, выходившей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть – все равно что полакомиться.

Войдя в комнату, Фантина опустилась на пол в углу, неподвижная и безмолвная, съежившись, как испуганная собачонка.

Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать.

Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и, по своему усмотрению, отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту – он сознавал это – табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно правильнее разрешить великую задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел там, на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны какой-то выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. И он сам видел это, он, Жавер. Не прерывая молчания, он писал.

Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал:

– Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. – Потом, обернувшись к Фантине, добавил: – Ты отсидишь шесть месяцев.

Несчастливая задрожала.

– Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! – вскричала она. – Шесть месяцев зарабатывать по семь су в день! Что же будет с Козеттой? С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь я и так должна Тенардые больше ста франков, знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?

Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу, истоптанному грязными сапогами всех этих людей.



– Господин Жавер, – говорила она, в отчаянии ломая руки, – умоляю вас, пощадите меня. Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что это так! Клянусь вам господом богом, я не виновата. Этот господин, которого я даже не знаю, ни с того ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать нам снег за ворот, когда мы спокойно ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова! А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина! Беззубая! Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя: «Ну что ж, этот господин забавляется». Я вела себя с ним по-хорошему, я с ним не разговаривала. Вот тут-то он и сунул мне снег за спину. Господин Жавер, добрый господин надзиратель! Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась. Но знаете, в первую минуту не владеешь собой. Бывает, и погорячишься. И когда вам за спину неожиданно попадает такое холодное... Я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения. О господи, мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только по семь су в день, правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне привезут мою крошку. Боже великий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю, так гадко! О моя Козетта, мой маленький святой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти Тенардьё – крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Им нужны деньги, и все тут. Не сажайте меня в тюрьму! Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу, иди куда глаза глядят, среди зимы. Вы должны сжалиться над ней, вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь, но она еще не может, она ведь совсем маленькая. В конце концов, я не такая уж дурная женщина. Не подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Сжальтесь надо мной, господин Жавер!

Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до земли, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. Великая скорбь – это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полу сюртука. Она смягчила бы каменное сердце; но деревянное сердце смягчить нельзя.

– Ну, – сказал Жавер, – хватит, я выслушал тебя! Ты, кажется, все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев, и сам господь бог не сможет тут ничего поделать.

При этих торжественных словах: «Сам господь бог не может тут ничего поделать», она поняла, что приговор произнесен. Она совсем припала к земле и прошептала:

– Помилуйте!

Жавер повернулся к ней спиной.

Солдаты схватили ее за руки.

За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел какой-то человек. Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины.

В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал:

– Погодите минуту!

Жавер поднял глаза и узнал г-на Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему принужденно и с досадой.

– Извините, господин мэр... – начал он.

Это обращение «господин мэр» произвело на Фантину странное действие. Она сразу встала на ноги, во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к г-ну Мадлену и, устремив на него помутившийся взгляд, выкрикнула:

– Ах, вот что! Так это ты – господин мэр?!

И, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо.

Господин Мадлен вытер лицо и сказал:

– Инспектор Жавер, отпустите эту женщину на свободу.

Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал одно за другим, и почти одновременно, самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, было столь чудовищно, что даже при самых ужасных своих предположениях он счел бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. С другой стороны, в глубине души он смутно и с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем, может быть, некогда был этот мэр, и тогда, к его ужасу, совершившееся преступление начинало представляться ему вполне естественным. Когда же этот мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал: «Отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось; он лишился дара мысли и дара речи; доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел.

Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла обнаженную руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:

– На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев! Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверно, ослышалась. Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь! Дорогой мой господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу? Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите только, господин Жавер, что он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен нескольких негодниц. Ну, разве это не чудовищно? Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом! И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег, с этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение – вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну, и живи как знаешь. А у меня ведь была моя маленькая Козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он погубил мне снегом все платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте мне, господин Жавер, я никогда нарочно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут гораздо счастливее. О господин Жавер, ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили? Правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я вовремя вношу квартирную плату, все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи! Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымилась.

Господин Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его обратно в карман и спросил Фантину:

– Как вы сказали, сколько у вас долгу?

Фантина, не сводившая глаз с Жавера, обернулась в его сторону:

– Не с тобой говорят! – И обратилась к солдатам: – А видели вы, ребята, как я плюнула ему в физиономию? Ага, старый мошенник мэ́р, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь! Я боюсь только господина Жавера, моего доброго господина Жавера!

Сказав это, она снова обратилась к Жаверу:

– Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто: мужчина для забавы сунул женщине за ворот немного снегу и насмешил господ офицеров – надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете! А потом приходите вы – вы должны ведь навести порядок; вот вы и уводите женщину, которая провинилась; но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу; это ради малютки, ведь, если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри не попадайся снова, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть теперь делают со мной все, что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо, я совсем не ожидала, что этот господин сунет мне снег за ворот, и потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашляю, и здесь, в желудке, у меня словно клубок какой-то, так и жжет. Доктор сказал мне: «Лечитесь». Да вот, троньте, дайте руку, не бойтесь, вот здесь...

Она больше не плакала, голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди громадную грубую руку Жавера и смотрела на него с улыбкой.

Вдруг она торопливо поправила платье, опустила задравшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила вполголоса:

– Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили. Я уйду.

Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице.

До этой минуты Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в землю, похожий на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали.

Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти – выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти: свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека.

– Сержант, – крикнул он, – разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто разрешил вам отпустить ее?

– Я, – сказал Мадлен.

Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому как пойманный вор выпускает из рук украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась и с этой минуты, не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, попеременно, в зависимости от того, который из них говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера и с Жавера на Мадлена.

Было очевидно, что Жавер, как говорится, совершенно «спятил», если он позволил себе сказать сержанту то, что он сказал, после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что «начальство» не могло отдать такого приказа и что господин мэ́р попросту оговорился? А может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались перед его глазами, он убедил себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство – словом, все общество в целом олицетворяется в нем одном, в Жавере?

Как бы там ни было, но когда г-н Мадлен произнес: «Я», полицейский надзиратель Жавер обернулся к господину мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа едва заметной мелкой дрожью, и – неслыханное дело – сказал, опустив глаза, но твердым голосом:

– Господин мэ́р, это невозможно.

– Как так? – спросил г-н Мадлен.

– Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина.

– Полицейский надзиратель Жавер, – возразил г-н Мадлен примирительным и спокойным тоном, – послушайте. Вы честный человек, и мы легко пойдем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину; там еще оставались группы людей, я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его.

Жавер ответил:

– Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэ́р.

– Это мое дело, – возразил г-н Мадлен. – Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему, как мне угодно.

– Прошу прощения, господин мэ́р, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия.

– Полицейский надзиратель Жавер, – возразил г-н Мадлен, – высшее правосудие – это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю.

– А я, господин мэ́р, не знаю, верить ли мне своим глазам.

– В таком случае ограничьтесь повинованием.

– Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев.

Господин Мадлен мягко ответил ему:

– Запомните хорошенько: она не проведет в тюрьме ни одного дня.

После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном:

– Мне очень жаль, что я должен послушаться господина мэ́ра, это впервые в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно господину мэ́ру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Именно ему и принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, из тесаного камня. Вот оно что бывает на белом свете! Как хотите, господин мэ́р, а это проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я, и я арестую девицу Фантину.

Тогда г-н Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, какого еще никто в городе от него не слышал:

– Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу.

Жавер хотел было сделать еще одну, последнюю попытку:

– Однако, господин мэ́р...

– Что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря тысяча семьсот девяносто девятого года о произвольном аресте.

– Позвольте, господин мэ́р...

– Ни слова больше.

– Но я...

– Ступайте, – сказал г-н Мадлен.

Жавер принял этот удар грудью, не дрогнув, не опустив глаза, как русский солдат. Он низко поклонился господину мэ́ру и вышел.

Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед.

Она тоже была во власти странного смутения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали

в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка; один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина; один говорил, как ее злой дух, другой – как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом – вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, – этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен! И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление! Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу?.. Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом г-на Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таившее в себе радость, доверие и любовь.

Когда Жавер вышел, г-н Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как сдержанный человек, который не хочет дать волю слезам, сказал ей:

– Я слышал то, что вы рассказали. Я ничего не знал об этом. Думаю, что все это правда, и больше того, чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы работали в моей мастерской. Отчего же вы не обратились прямо ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить; я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если сами не пожелаете. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. И даже, – слушайте, я утверждаю это, – если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед богом. О бедная женщина!

Это было свыше сил бедной Фантины. Взять к себе Козетту! Бросить эту гнусную жизнь! Жить свободно, богато, счастливо, честно и с Козеттой! Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство! Она взглянула на человека, который говорил ей все это, почти бессмысленным взглядом и могла лишь простонать: «О-о-о!» Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и, прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами.

Тут она лишилась сознания.

## Книга шестая Жавер

### Глава 1 Начало отдохновения

Господин Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где жил он сам, и поручил ее сестрам, которые сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула.

На другой день около полудня Фантина проснулась и услышала у своей постели, совсем близко, чье-то дыхание; она отвернула полог и увидела стоявшего подле нее г-на Мадлена, который устремил взгляд куда-то поверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию.

Отныне г-н Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь нарушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила:

– Что это вы делаете?

Господин Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее за руку, он пощупал пульс и спросил:

– Как вы себя чувствуете?

– Хорошо, я немного поспала, – ответила она, – кажется, мне лучше. Это скоро пройдет.

Тогда, отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал:

– Я молился страдальцу, который там, в небесах.

И мысленно добавил: «За страдальцу, которая здесь, на земле».

Ночь и утро г-н Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал:

– Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуйте, ваш удел – удел избранных! Ибо именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты: они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, – начало рая. Пройти через него было необходимо.

Он глубоко вздохнул. А она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту.

Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монрейля-Приморского. Оно было адресовано в Париж, и надпись на конверте гласила: «Господину Шабюлье, секретарю господина префекта полиции». Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке.

Господин Мадлен поспешил написать супругам Тенардье. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста, с тем чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в Монрейль-Приморский, где его ожидает больная мать.

Тенардые был потрясен. «Черт побери, – сказал он жене, – мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта пичуга превратится в дойную корову. Я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-нибудь простофиля втюрился в мамашу».

Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета, один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами Эпонино и Азельму, перенесших длительную болезнь. Что касается Козетты, то, как мы уже говорили, она не была больна. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Под счетом Тенардые приписал: «Получено в счет долга триста франков».

Господин Мадлен немедленно послал еще триста франков и написал: «Поскорее привезите Козетту».

– Черта с два! – сказал Тенардые. – Нет, мы не выпустим из рук ребенка.

Между тем Фантина все не поправлялась. Она по-прежнему лежала в больнице.

Вначале сестры приняли «эту девку» и ухаживали за ней с каким-то брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно оттопырены губы дев мудрых, вззирающих на дев неразумных. Это извечное презрение весталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были проникнуты кротостью и смирением, а страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры услышали, как она громко бредила в жару: «Я была грешницей, но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя Козетта была со мной, я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я и грешила ради нее одной, вот почему бог прощает меня. Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себе благословение господина бога. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы, ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них еще не отпали».

Господин Мадлен навещал ее по два раза в день, и всякий раз она спрашивала его:

– Скоро ли я увижу мою Козетту?

Он отвечал:

– Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту.

И бледное лицо матери сияло.

– О, как я буду счастлива! – говорила она.

Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаэнека. Врач выслушал Фантину и покачал головой.

Господин Мадлен спросил врача:

– Ну, как?

– У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть? – ответил врач вопросом.

– Да.

– Так поторопитесь с его приездом.

Господин Мадлен вздрогнул.

Фантина спросила у него:

– Что сказал врач?

Сделав над собой усилие, г-н Мадлен улыбнулся.

– Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком и что это вылечит вас.

– О да! – вскричала она. – Он прав. Почему только эти Тенардье так долго держат у себя мою Козетту? Но она придет. О, наконец-то счастье близко, оно тут, я уже вижу его!

Тенардье, однако, «не выпускал ребенка из рук» и отвиливал всевозможными способами. То Козетта не совсем здорова и нельзя ей пускаться в путь посреди зимы. То ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и т. д., и т. д.

– Я пошлю кого-нибудь за Козеттой, – сказал дядюшка Мадлен. – А если понадобится, поеду сам.

Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать:

*«Господин Тенардье,  
Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут  
вам оплачены. Остаюсь с уважением  
Фантина».*

Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу, которую мы называем нашей жизнью. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности.

## Глава 2

### Каким образом Жан может превратиться в Шан

Однажды утром, когда г-н Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, г-н Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более, чем когда-либо, и с тех пор г-н Мадлен ни разу его не видел.

– Пусть войдет, – сказал он.

Жавер вошел.

Господин Мадлен продолжал сидеть у камина, с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении правил распорядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он даже не пошевелился. Совершенно невольно он вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность.

Жавер почтительно поклонился г-ну мэру, который сидел к нему спиной. г-н мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах.

Жавер сделал два-три шага вперед и, не прерывая молчания, остановился.

Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и капрала, этого неспособного на ложь шпики и непорочного сыщика, – физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к г-ну Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, наблюдая Жавера в эту минуту, непременно сказал бы себе: «Что-то случилось». Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился г-ну Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, ни подозрительности; он остановился в нескольких шагах от мэра, позади его кресла, и теперь стоял почти навытяжку, с безыскусственным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением; он ждал без единого слова или жеста, полный непритворного смирения и спокойной покорности, когда г-ну мэру



удочно будет обернуться к нему, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем предположить, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние.

Наконец г-н мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил:

– Ну! Что такое? В чем дело, Жавер?

Жавер с минуту молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простоты:

– Дело в том, господин мэр, что совершено преступное деяние.

– Какое?

– Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу, и притом самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения.

– Кто этот низший чин администрации? – спросил г-н Мадлен.

– Я, – сказал Жавер.

– Вы?

– Я.

– А кто то должностное лицо, которое имеет основания быть недовольным этим низшим чином?

– Вы, господин мэр.

Господин Мадлен приподнялся со своего кресла. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал:

– Господин мэр, я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения.

Господин Мадлен, изумленный, хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его:

– Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку – это почетно. Я совершил проступок, я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали.

И, помолчав, он добавил:

– Господин мэр, в прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо.

– Да почему? За что? – вскричал г-н Мадлен. – Что за вздор! Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступное деяние, направленное против меня? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили...

– Выгнали, – поправил его Жавер.

– Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не понимаю...

– Сейчас поймете, господин мэр.

Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально:

– Господин мэр, полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас.

– Донесли?

– Да. В полицейскую префектуру Парижа.

Господин Мадлен, смеявшийся немногим чаще, чем Жавер, вдруг рассмеялся:

– Как на мэра, вмешавшегося в распоряжения полиции?

– Нет, как на бывшего каторжника.

Мэр сделался бледен, как полотно.

Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал:

– Я думал, что это так. У меня давно уже были кое-какие подозрения. Сходство, справки, которые вы навели в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, – не знаю и сам, что еще... разные пустяки! Но так или иначе, а я принимал вас за некоего Жана Вальжана.

– За некоего... Как вы его называли?

– За Жана Вальжана. Это каторжник, которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога этот Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение – ограбил на большой дороге маленького савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его разыскивали. Я и вообразил себе... Словом, я сделал это. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру.

Господин Мадлен, который уже несколько минут снова занимался своими протоколами, спросил с выражением полнейшего равнодушия:

– И что же вам там ответили?

– Что я сошел с ума.

– Ну?

– Ну, и они были правы.

– Хорошо, что вы сами сознаете это!

– Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся.

Листок бумаги, который держал г-н Мадлен, выскользнул у него из рук; он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с неизъяснимым выражением:

– Ах, так!

Жавер продолжал:

– Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе, возле Альи-Высокая-Колокольня, жил какой-то старикашка, по имени Шанматье. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у... Впрочем, это неважно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным: ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в кутузку. Пока что дело пахло исправительным домом, не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Эге! Да я знаю этого человека. Это старый острожник. Погляди-ка на меня, дружище! Ты – Жан Вальжан!...» – «Жан Вальжан? Какой Жан Вальжан?» – Шанматье прикидывается удивленным. «Не валяй дурака, – говорит тогда Бреве. – Ты – Жан Вальжан! Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне. И я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается. Черт возьми! Вы, конечно, понимаете, почему! Начинается расследование. Раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах и в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано, и, наконец, он оказывается в этих краях. Ну-с, кем же был Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. Крестное имя этого Вальжана было Жан, а мать его носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе из острога он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель

не возражает, и вот вам – Шанматье! Вы ведь следите за моим рассказом? Навели справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не оказалось. Где она – неизвестно. Знаете, среди людей этого класса нередко такие исчезновения целого семейства. Вы ищете – и никого уже не находите. Если эти люди не грязь, то они – пыль. И так как от начала этих событий прошло тридцать лет, в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Тогда обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве, остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана. Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпайль и Шенильдье. Их выписывают из острога и привозят в Аррас. Устраивают им очную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений. Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст – ему пятьдесят четыре года, – тот же рост, та же наружность – словом, тот же человек, тот самый. Вот в это-то время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках! Я написал судебному следователю. Он вызвал меня, мне показали Шанматье...

– И что же? – прервал его г-н Мадлен.

Лицо Жавера, не умеющего лгать, было печально. Он ответил:

– Господин мэр, правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек несомненно Жан Вальжан. Я тоже узнал его.

– Вы уверены в этом? – спросил г-н Мадлен очень тихо.

Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте.

– Еще бы!

Задумавшись, он с минуту машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил:

– И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как это я мог думать иначе. Простите меня, господин мэр.

Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца тому назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех: «Ступайте!» – Жавер, этот высокомерный человек, был, сам того не зная, исполнен простоты и достоинства. г-н Мадлен ответил на его просьбу лишь следующим внезапным вопросом:

– А что говорит этот человек?

– Да что уж, господин мэр, его дело плохо! Если это Жан Вальжан, тут рецидив. Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок: для ребенка – это шалость, для взрослого – проступок, для каторжника – преступление. Это кража, и притом за оградой владения. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. К тому же имеется еще история с маленьким савояром, которая, надеюсь, всплывет наружу. Черт побери, тут уж есть от чего отрешиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан хитрая бестия! Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать – и котелок закипает, когда ставишь его на огонь, – другой не согласится быть Жаном Вальжаном и так далее, и тому подобное. А этот делает вид, что ничего не понимает, и говорит: «Я Шанматье, я не был на каторге!» Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма! Ну, да все равно, доказательства налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в аррасский суд! Я еду туда. Меня вызывают свидетелем.

Между тем г-н Мадлен снова отвернулся к своему письменному столу и спокойно разбирал бумаги, читая их и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу:

– Ну, довольно, Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что, Жавер, немедленно сходите к тетушке Бюзопье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольв, и скажите ей, чтобы она подала жалобу на возчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой и ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем вы пойдете к господину Шарселе, улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене ле Босе на улице Гаро-Блан, и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений. Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать? Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или десять едете в Аррас по этому делу?..

– Нет, господин мэр, раньше.

– Когда же?

– Мне казалось, что я уже сказал вам, господин мэр, – дело разбирается в суде завтра, я еду сегодня с вечерним дилижансом.

Господин Мадлен сделал едва уловимое движение.

– И сколько времени оно продлится?

– Самое большее – день. Приговор будет вынесен не позже чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показание и сейчас же вернусь сюда.

– Хорошо, – сказал г-н Мадлен.

И он жестом отпустил Жавера.

Однако Жавер не уходил.

– Простите, господин мэр, – сказал он.

– Что еще? – спросил г-н Мадлен.

– Господин мэр, мне остается еще напомнить вам об одном обстоятельстве.

– О каком?

– О том, что я должен быть уволен со службы.

Господин Мадлен встал.

– Жавер, вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление опять-таки касается одного меня. Жавер, вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте.

Жавер взглянул на г-на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил:

– Господин мэр, я не могу согласиться с вами.

– Повторяю, это касается меня одного, – сказал г-н Мадлен.

Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал:

– Что до преувеличения, то нет, я ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Однако это еще терпимо. Подозревать – наше право, право полиции; хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, – в этом уже, пожалуй, кроется некоторое беззаконие. Но вот, не имея доказательств, в порыве гнева, из мести, я донес на вас как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо! Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть! Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. «И что же» – спросите вы. Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг. По отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое, что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как! Я, значит, был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком! Но в таком случае

все те, которые говорят: «Что за подлец этот Жавер!» – оказались бы правы! Господин мэр, я не хочу, чтобы вы были добры ко мне; ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и я лично отказываюсь от нее. Доброта, отдающая предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, – такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Господи помилуй! Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно! Окажись вы тем, за кого я вас принимал, – ого! Я бы уж не был добр с вами; вы бы тогда увидели! Господин мэр, я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе: «Смотри у меня! Если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди!» И я споткнулся, я совершил промах. Тем хуже для меня! Уволен, прогнан, вышвырнут! Пусть, так и надо. У меня есть руки, пойду работать землепашцем, кем угодно. Господин мэр, интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера.

Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим какое-то своеобразное величие этому странному носителю чести.

– Посмотрим, – проговорил г-н Мадлен.

И протянул ему руку.

Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном:

– Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику.

И он добавил сквозь зубы:

– Да, доносчику! С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик.

Затем он низко поклонился и направился к двери.

Здесь он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз:

– Господин мэр, я не оставлю службы до тех пор, пока мне не назначат заместителя.

Он вышел. г-н Мадлен сидел в задумчивости, прислушиваясь к звуку твердых и уверенных шагов, постепенно затихавших на каменных плитах коридора.

## Книга седьмая Дело Шанматье

### Глава 1 Сестра Симплиция

Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле-Приморском, но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое потрясающее воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них в мельчайших подробностях.

Среди этих подробностей читатель встретит два или три обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине.

После посещения Жавера, около полудня г-н Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину.

Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию.

Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лазаристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую – сестра Симплиция.

Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к господу богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам эту грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно: и капуцина и урсулинку. Эту деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто; первый становится вторым без особых затруднений; невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготавливает почву для сближения и сразу ставит сельского жителя на один уровень с монахом. Блуза пошире – вот вам и ряса. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня, родом из Марина близ Понтуазы; дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюзжала, подслащала лекарственный отвар, в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, почти насильно навязывала им бога и сердито глушила их агонию молитвами.

Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуйей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слиты воедино безграничная свобода и полное порабощение: «Не будет у них иной обители – как больница, иной кельи – как наемный угол, иной часовни – как приходская церковь, иного монастырского двора – как улицы города или же больничные палаты, иной ограды – как послушание, иной решетки – как страх божий, иного покрывала – как скромность». Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал возраста сестры Симплиции; она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа – мы не смеем сказать «женщина» – кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная и не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кротка, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной; она говорила ровно столько, сколько было необходимо, и звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедальне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о боге. Подчеркнем одну особенность. Пол-

ная неспособность солгать, никогда в жизни не сказать, даже по необходимости, даже невольно, чего бы то ни было, не соответствующего истине, – такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье: «Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку – трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции». Мелкая ложь, невинная ложь – да полно, существует ли она! Ложь – это воплощение зла. Солгать немного – невозможно; тот, кто лжет, лжет до конца; ложь – это олицетворение дьявола; у Сатаны есть два имени: он зовется Сатаной, и он зовется Ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, – белизна, сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен-Венсен де Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случаен. Как известно, Симплиция Сицилийская – это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракуз, не согласилась сказать, что родилась в Сежесте, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души.

У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась: она питала пристрастие к сладостям, и она любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом и по-латыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник.

Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней.

Господин Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине.

Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине.

Фантина каждый день так ждала появления г-на Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость. Она говорила сестрам: «Я только тогда и живу, когда приходит господин мэр».

В этот день ее сильно лихорадило. Увидев г-на Мадлена, она сейчас же спросила:

– А Козетта?

– Скоро, – ответил он, улыбаясь.

Господин Мадлен держал себя с Фантиной так же, как обычно. Только вместо получаса он, к великому удовольствию Фантины, просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должна нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо: «Ей значительно хуже».

Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.

## Глава 2

### Проницательность дядюшки Скофлера

Из мэрии он направился на другой конец города, к некоему фламандцу Скауфлеру, а на французский лад – Скофлеру, который отдавал внаем лошадей и «кабриолеты по желанию».

Чтобы кратчайшим путем добраться до этого Скофлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал г-н Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при слу-

чае подать добрый совет. В ту минуту, когда г-н Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее: уже миновав дом священника, г-н мэр остановился, немного постоял на месте, потом вернулся обратно и дошел до ворот этого дома; в воротах была калитка с железным стукальцем; он быстро взялся за стукальце и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье; однако по прошествии нескольких секунд, вместо того чтобы громко постучать, он тихонько опустил стукальце и пошел дальше с поспешностью, которой до того не обнаруживал.

Господин Мадлен застал Скофлера дома, за починкой конской сбруи.

– Дядюшка Скофлер, – сказал он, – есть у вас хорошая лошадь?

– У меня все лошади хороши, господин мэр, – возразил фламандец. – Что значит, повашему, «хорошая лошадь»?

– Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день.

– Черт возьми! – воскликнул фламандец. – Двадцать лье!

– Да.

– Запряженная в кабриолет?

– Да.

– А сколько времени она будет отдыхать после такого конца?

– Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день.

– И проделать такой же путь?

– Да.

– Черт возьми! Черт возьми! Как вы сказали? Двадцать лье?

Господин Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламандцу. Это были цифры: пять, шесть и восемь с половиной.

– Видите? – оказал он. – Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно что двадцать лье.

– Господин мэр, – сказал фламандец, – у меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверно, как-нибудь случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего Булонэ. Горяча, как огонь. Сперва ее думали объездить под седло – куда там! Брыкается, скидывает всех на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней и делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этому-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Везти – согласна, нести на себе – ни за что. Видно, уж так она про себя и порешила.

– И она пройдет такое расстояние?

– Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше чем за восемь часов, но только при некоторых условиях.

– При каких же?

– Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть; она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоялого двора не отсыпал у нее овса, а то я замечал, что на постоянных дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают.

– За этим последят.

– Во-вторых... А что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр?

– Да.

– А умеете ли вы, господин мэр, править?

– Да.



– Хорошо, но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь.

– Согласен.

– Но послушайте, господин мэр, ведь, если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой.

– Об этом мы уже договорились.

– В-третьих... Я возьму с вас по тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Ни на грош меньше, и прокорм коня за ваш счет, господин мэр.

Господин Мадлен вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.

– Вот вам за два дня вперед.

– И в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком тильбюри.

– Согласен.

– Экипаж легкий, но открытый.

– Это мне безразлично.

– Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима?

Господин Мадлен не ответил.

– И что на улице стоит сильный холод? – продолжал фламандец.

Господин Мадлен хранил молчание.

– И что может пойти дождь?

Господин Мадлен поднял голову и сказал:

– Завтра, в половине пятого утра, тильбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей.

– Слушаю, господин мэр, – ответил Скофлер; потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламандцы так искусно прикрывают хитрость: – Да! Только сейчас вспомнил! Ведь вы, господин мэр, еще не сказали, куда вы едете. Куда это вы едете, господин мэр?

Он только об этом и думал с самого начала разговора, но, сам не зная почему, не решился задать этот вопрос.

– Надежны ли передние ноги у вашей лошади? – спросил г-н Мадлен.

– О да, господин мэр. Только немного придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места?

– Не забудьте: быть у моих дверей точно в половине пятого утра, – ответил г-н Мадлен и вышел.

Фламандец остался «в дураках», как он сам признавался впоследствии.

Не прошло и двух-трех минут после ухода г-на мэра, как дверь отворилась снова; это был г-н мэр.

У него был все тот же бесстрастный и рассеянный вид.

– Господин Скофлер, – спросил он, – во сколько вы цените лошадь и тильбюри?

– А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?

– Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолет и лошадь?

– В пятьсот франков, господин мэр.

– Вот они.

Господин Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и на этот раз больше не вернулся.

Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков. Впрочем, лошадь с тильбюри вместе стоила не больше ста экю.

Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы это, черт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос.

– Он едет в Париж, – сказала жена.

– Не думаю, – возразил муж.

Господин Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и внимательно исследовал.

– Пять, шесть, восемь с половиной. Да это, должно быть, означает расстояние между почтовыми станциями.

Он обернулся к жене.

– Понял.

– Ну?

– Пять миль отсюда до Эдена, шесть от Эдена до Сен-Поля, восемь с половиной от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Аррас.

Тем временем г-н Мадлен вернулся домой.

Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение и он хотел избежать его. Он сразу поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей; он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой г-на Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив:

– Уж не захворал ли господин мэр? У него сегодня был какой-то странный вид.

Комната этого кассира приходилась как раз под комнатой г-на Мадлена. Он не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся: сквозь сон он услышал над головой какой-то шум. Он прислушался. Это был шум шагов: казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги г-на Мадлена. Это удивило его: обычно в спальне г-на Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук открывшейся и снова захлопнувшейся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина – и вот снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни г-на Мадлена. Отблеск дрожал; казалось, его отбрасывала туда не лампа, а скорее топящийся камин. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что окно было широко открыто. При таком холоде это открытое окно вызывало чувство недоумения. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные размеренные шаги раздавались над его головой.

Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто.

Вот что происходило в комнате г-на Мадлена.

## Глава 3

### Буря в душе

Читатель, вероятно, догадался, что г-н Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.

Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести; пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, – это небо; есть зрелище более величественное, чем небо, – это глубь человеческой души.

Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы ничтожнейшего из людей, это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть – это хаос химер, вожелений и дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых мы сами стыдимся, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей. Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом какого-либо человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь, загляните в эту душу, загляните в этот мрак. Там, под этой видимостью спокойствия, происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов с гидрами, там сонмища призраков, как у Мильтона, и фантасмагорические круги, как у Данте. Как темна бесконечность, которую каждый человек носит в себе и с которой в отчаянье он соразмеряет причуды своего ума и поступки своей жизни!

Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, отворить которую не решился. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешимости на пороге. Войдем, однако ж.

Нам осталось немного добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с Малышом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение, – произошло преображение.

Он сумел исчезнуть, продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники – как память; незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию, попал в Монрейль-Приморский, где ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили, совершил там то, о чем мы уже рассказали, ухитрился стать одновременно неуловимым и недоступным, и отныне, обосновавшись в Монрейле-Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом и что первая половина его существования уничтожается второю, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления: скрыть свое имя и освятить свою жизнь; уйти от людей и возвратиться к богу.

Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно; оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением: оба побуждали его держаться в тени, оба учили быть доброжелательным и простым, оба давали одни и те же советы. Бывало, однако ж, что между ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле-Приморском и его окрестностях называли г-ном Мадленом, не колеблясь жертвовал первым ради второго, жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию он хранил у себя подсвечники епископа, открыто носил по нем траур, он расспрашивал всех маленьких савояров, появившихся в городе, наводил справки о семьях, проживающих в Фавероле, и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководясь примером мудрецов, святых и праведников, он считал, и мы уже упоминали об этом, что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном.

Правда, надобно заметить, что никогда еще с ним не случилось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В ту секунду, как было названо имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянел от роковой своенравности своей судьбы, но вскоре его пронизала дрожь, та дрожь, которая предшествует сильным потрясениям; он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он почувствовал, как нависли над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя, освободить этого Шанматье из тюрьмы и сесть туда самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули

по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: «Нет! Нет! Что это я!» Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом.

Разумеется, было бы прекрасно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, посреди чудесно начатого искупления, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью идти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо; это было бы прекрасно; но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе, и должны говорить лишь о том, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами; г-н Мадлен поспешил собраться с мыслями, подавил свое волнение, осознал присутствие Жавера и всю сопряженную с этим опасность; с твердостью отчаянья, отложив решение вопроса, он постарался отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал обратно свое спокойствие – так борец подбирает с земли щит, выбитый из его рук.

Весь остаток дня он провел в том же состоянии: вихрь в душе, внешне – глубокое бесстрастие; он сделал лишь одно: принял так называемые «предварительные меры». Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу; смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя только одно – что ему нанесен жестокий удар. Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину и, движимый инстинктом доброты, затянул свое посещение, подумав, что должен был поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней на тот случай, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствуя, что, может быть, ему придется поехать в Аррас, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе, что, будучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела, и заказал у Скофлера тильбюри, чтобы на всякий случай быть готовым.

Он пообедал с недурным аппетитом.

Придя в себя, он стал размышлять.

Он вдумался в положение вещей и нашел его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг среди своего раздумья он, под влиянием какого-то почти необъяснимого чувства тревоги, встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного.

Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его.

Ему казалось, что кто-то может его увидеть.

Кто же был этот «кто-то»?

Увы! То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть.

Его совесть, иначе говоря – бог.

Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя: его охватило чувство безопасности и одиночества; заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным; погасив свечу, он счел себя невидимым. Тогда он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал думать во мраке.

«Что же это случилось? Не сплю ли я? Что такое мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера и что он так говорил со мной? Кто такой этот Шанматье? Говорят, он похож на меня. Ужели это возможно? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и так далек от каких бы то ни было подозрений. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем окончится все это? Как быть?»

Вот такая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли, они убегали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их.

Этот потрясавший его волю и рассудок ураган, посреди которого он пытался отыскать просвет и твердое решение, рождал лишь мучительную тревогу.

Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звезды. Он вернулся к столу и сел на прежнее место. Так прошел первый час.

Мало-помалу, однако, расплывчатые очертания его мыслей стали принимать более определенные и устойчивые формы, и он мог представить себе в истинном свете свое положение если не в целом, то хотя бы в некоторых деталях. И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его господином.

Но это открытие только усилило его растерянность.

Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи он больше всего в мире боялся одного – услышать когда-нибудь, как произнесут это имя; он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь и – кто знает? – быть может, также и его новая душа. Он содрогался при одной мысли о том, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова – «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним; что этот грозный свет, предназначенный рассеять тайну, которой он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму; что это имя уже не будет для него страшным, что эта разорванная завеса лишь углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый и почтенный гражданин «господин Мадлен» окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, – если бы кто-нибудь сказал ему это, он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле; все это нагромождение невероятностей стало реальным фактом, и бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность.

Мысли его продолжали проясняться. Он все более и более отчетливо понимал свое положение.

Ему казалось, что он проснулся от какого-то страшного сна и теперь, среди ночи, скользит, дрожа и тщетно силясь удержаться, по откосу, на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого, чужого человека, которого рок принимал за него и толкал в пропасть. Для того чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее – либо он сам, либо тот, другой.

От него требовалось лишь одно: не мешать судьбе.

Теперь в его сознании воцарилась полная ясность, и он сказал себе, что место его на галерах пусто, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление Малыша Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И он сказал себе также, что в эту минуту у него нашелся заместитель, что, по-видимому, некоему Шанматье выпало на долю это несчастье; что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем г-на Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора – тот камень, который, подобно могильному камню, опустившись раз, не поднимется никогда.

Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неопишуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни, нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного, смесь иронии, радости и отчаянья, – нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха.

Внезапно он снова зажег свечу.

«Что же это? – сказал он себе. – Чего мне бояться? Зачем об этом думать? Я спасен. Все кончено. Существовала лишь одна полукоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь; теперь эта дверь замурована, и навсегда! Этот Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный, облекшийся в плоть инстинкт ищейки, который, кажется, разгадал меня – да, наверное, разгадал, можно поклясться в этом! – и преследовал неотступно, этот страшный охотничий пес, который вечно делал надо мной стойку, наконец-то запутался, потерял след и погнался за другой дичью! Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал своего Жана Вальжана! Кто знает, быть может даже, он захочет переехать в другой город! И все это совершилось помимо меня! Я тут ни при чем! Да в конце концов, что же во всем этом плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось какое-то несчастье! Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук провидения. Очевидно, такова его воля! Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? И я еще недоволен? Чего же мне еще надо? Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность – я достиг ее! Так угодно богу. Я не должен противиться его воле. А почему ему угодно это? Чтобы я мог продолжать начатое, чтобы я мог творить добро, чтобы я мог в будущем стать высоким и поощряющим примером, наконец, чтобы наложенная на меня эпитимья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья! Не понимаю, право, отчего я побоялся зайти к этому славному кюре и, поведав ему все, как на исповеди, попросить у него совета. Без сомнения, он сказал бы мне то же самое. Решено, пусть все идет своим чередом! Пусть все вершит господь!»

Так беседовал он с сокровенными глубинами своей совести, наклонясь над краем того, что можно было назвать бездной его собственной души. Он встал со стула и начал шагать по комнате. «Вот что, – сказал он, – довольно думать об этом. Решение принято!» Но он не испытал при этом ни малейшей радости.

Напротив.

Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет это приливом, преступник – угрызениями совести. Бог вздымает душу, как океан.

Через несколько секунд он опять помимо воли возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать, выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь той таинственной силе, которая приказывала ему: «Думай!», как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: «Иди!»

Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, остановиться на одном необходимом замечании.

Люди, конечно, разговаривают сами с собой; нет такого мыслящего существа, с которым не случилось бы этого. Быть может даже, слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде: «он сказал», «он воскликнул». Мы говорим, мы беседуем, мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении; все говорит, за исключением уст. Реальные душевные движения невидимы, неосвязаемы, но тем не менее они реальны.

Итак, он спросил себя: к чему же он пришел? Он задал себе вопрос: что же представляло собой это «принятое решение»? Он признался перед самим собой, что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит господь» были попросту ужасны. Допустить ошибку, свершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием – словом, ничего не делать – значило все делать!

Это была последняя ступень недостойного лицемерия! Это было преступление, низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное!

Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого помысла и злого дела. И он плюнул с отвращением.

Он продолжал себя допрашивать. Он сурово спросил, что означали его собственные слова: «Я достиг цели!» И заявил себе, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Ужели ради такой мелочи сделал он все то, что сделал? Разве не было у него иной – высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! Ведь только этого, одного лишь этого всегда хотел он сам, и именно это повелел ему епископ! Закрывать дверь в прошлое? Боже великий, да разве таким образом он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь! Он вновь станет вором, и притом самым презренным из воров! Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие, его место под солнцем! Он станет убийцей! Он убьет, убьет душу этого жалкого человека, он обречет его на ту ужасную смерть заживо, на ту смерть под открытым небом, которая называется каторгой! И напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой столь роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана – вот это действительно значило завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попав туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это! Если он не сделает этого – значит, он никогда ничего не сделал! Вся его жизнь окажется бесполезной, раскаяние – бесплодным, и ему останется сказать лишь одно: к чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, возле него; что, мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой; что он пристально смотрит на него; что отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин восхищения в его глазах; что все видели лишь его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо; что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его совесть. Итак, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего. Увы! Вот она, величайшая из жертв, горчайшая из побед, самое тяжелое из усилий, но так надо. Горестный удел! Он может стать праведным перед лицом бога, только опозорив себя в глазах людей!

– Что ж, – сказал он, – надо решиться! Надо исполнить свой долг! Надо спасти этого человека!

Он произнес эти слова громко, даже не заметив, что говорит вслух.

Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его, и тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть: «г-ну Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж».

Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году.

Наблюдая, как г-н Мадлен, погруженный в глубокое раздумье, занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения.

Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и снова начал шагать по комнате.

Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом: «Ступай! Назови свое имя! Донеси на себя!»

Он видел также перед собой, словно ожившими и принявшими осязаемую форму, два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрыть свое имя, освятить свою душу. Впервые они появились перед ним каждый в отдельности, и он увидел, что их рознило. Он понял, что один из них был безусловно добрым, тогда как другой мог стать дурным; что один означал само отречение, а другой – себялюбие; что один говорил: *ближний*, а другой говорил: *я*; что источником одного был свет, а другого – тьма.

Они боролись между собой, и он наблюдал их борьбу. По мере того как он размышлял, они все росли перед его умственным взором; они приобрели теперь исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, какое-то божество сражается с каким-то великаном.

Он был исполнен ужаса, но ему казалось, что доброе начало берет верх.

Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома – великое испытание.

Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его в принятом решении.

Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что как-никак он совершил кражу.

И он ответил себе: «Если этот человек действительно украл лишь несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он? Доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник – значит вор».

Мгновением позже ему пришла в голову другая мысль; быть может, если он выдаст себя, героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание и его помилуют.

Но это предположение быстро исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у Малыша Жерве превращает его в рецидивиста, что это дело, несомненно, всплывет наружу и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам.

Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешения и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг; что, быть может даже, исполнив его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения; что, если он даст всему идти «своим чередом» и останется в Монрейле-Приморском, уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, общее почтение и благоговение, его милосердие, богатство, известность, его добродетель – все это будет отравлено горечью преступления; и чего стоили бы все его благие дела, завершенные таким гнусным делом! Если же он принесет себя в жертву, то все – каторга, позорный столб, железный ошейник, зеленый колпак, непрерывная работа, беспощадные оскорбления – все будет проникнуто небесной благодатью!

И наконец он сказал себе, что обязан так поступить, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что так или иначе, но приходится выбирать: либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор.

Перебирая в уме такое множество мрачных мыслей, он не терял мужества, но мозг его начал утомляться. Невольно он начал думать о другом, о совершенно безразличных вещах.

В висках у него стучало. Он все еще ходил взад и вперед. Пробило полночь – сначала в приходской церкви, потом в ратуше. Он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему вспомнилось, что несколько дней назад он



видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью: «Антуан Альбен из Ромен-виля».

Ему стало холодно. Он растопил камин, но не догадался закрыть окно.

Между тем им опять начало овладевать оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробило полночь. Наконец ему это удалось.

«Ах, да, – подумал он, – я решил донести на себя».

И вдруг он вспомнил о Фантине.

– Как же так? – оказал он. – А что будет с этой несчастной?

И тут на него снова нахлынули сомнения.

Образ Фантины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменялось, он воскликнул:

– Что же это такое? Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя! Что мне делать – молчать или донести на себя; скрыть себя или спасти свою душу; быть достойным презрения, но всеми уважаемым должностным лицом или опозоренным, но достойным уважения каторжником? Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне одному! Но, господи боже, ведь все это себялюбие! Не совсем обычные формы себялюбия, но все же себялюбие! А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне – что тогда получится из всего этого? Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют, Шанматье выпускают на свободу, меня снова отправляют на каторгу, все это хорошо, а дальше? Что происходит здесь? Да, здесь! Здесь – целый край, город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети, весь этот бедный люд! Все это создал я, это я дал им всем средства к существованию; повсюду, где бы ни дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною; я создал довольство, торговый оборот, кредит, до меня не было ничего; я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь; если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение, и причиной несчастья которой невольно явился я! А этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери! Разве я не обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я доношу на себя. Ну, а если я не доношу на себя? Что же будет, если я не доношу на себя?

Задав себе этот вопрос, он остановился; на миг им овладела какая-то нерешительность, какие-то сомнения; но это длилось недолго, и он спокойно ответил самому себе:

– Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда, но ведь, черт возьми, он вор! Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, – он украл! А я, я останусь здесь и буду продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю – мне самому ничего не надо, на что мне деньги? Все, что я делаю, я делаю не для себя! Общее благоденствие все возрастает, промышленность пробуждается и оживает, заводов и фабрик становится все больше, семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы! Население увеличивается, на месте отдельных ферм рождаются деревни, на месте голых пустырей рождаются фермы; нужда исчезнет, а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления! И эта бедная мать воспитает своего ребенка! И весь край заживет богато и честно! Да нет, с ума я, что ли, сошел, совсем потерял рассудок, что пойду доносить на себя? Право же, надо все обдумать и не ускорять событий. Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека – да ведь это, в конце концов, настоящая мелодрама! – только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном, и собираюсь спасти от наказания, может быть чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого-то негодяя, – должен погибнуть целый край! Несчастливая женщина должна околоть в больнице, а бедная малютка – на мостовой, как собака! Но ведь это

чудовищно! И мать даже не увидит своего ребенка! А ребенок так и погибнет, почти не зная матери! И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим! Хороша ж эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными, спасает старого бродягу, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, которому на каторге к тому же будет, несомненно, лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края, матерей, жен, детей! Бедняжка Козетта! У нее ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье! Какие, должно быть, негодяи эти люди! И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным! Я пойду доносить на себя! Сделаю эту неслыханную глупость! Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на эти укоры совести, которые будут мучить меня одного, на этот дурной поступок, который пятнает лишь мою собственную душу, – да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель.

Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен.

Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли; истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что, опустившись на самое дно этой мысли, роясь ощупью в этих темных недрах, он наконец отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском.

«Да, – думал он, – это так. Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет своим чередом! Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы. Я – Мадлен и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану! Это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается как хочет! Я тут ни при чем. Это роковое имя, режущее среди мрака; и если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, что ж, тем хуже для этой головы!»

Он посмотрелся в маленькое зеркальце, стоявшее на камине, и сказал:

– Ну вот! Я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид.

Он походил еще немного, потом внезапно остановился.

– Вот что! – сказал он. – Не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня, немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено: все это должно исчезнуть!

Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул маленький ключ.

Он вставил этот ключ в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были оклеены стены. Открылся тайничок, нечто вроде незаметного снаружи шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным копаком камина. В этом тайничке лежали какие-то лохмотья, синяя холщовая блуза, потертые штаны, старый ранец и толстая терновоя палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он проходил через Динь в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния.

Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду.

Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все – лохмотья, палку и ранец.

Затем он снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными теперь, когда шкаф был пуст, заслонил дверцу высоким креслом.

Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры.

Ранец, вместе с лежавшими в нем отвратительными тряпками, догорел, и в золе блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького савояра.

Но он не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол.

Вдруг взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине в отсветах огня.

«Ах, да! – подумал он. – В этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это».

Он взял подсвечники.

Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу.

Нагнувшись над очагом, он с минуту погрелся. Ему стало очень хорошо. «Как славно! Тепло!» – проговорил он.

Он помешал горящие угли одним из подсвечников.

Еще секунда, и они очутились бы в огне.

Но в это самое мгновение ему почудилось, что какой-то голос внутри его крикнул: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»

Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное.

«Да, да, кончай свое дело! – говорил голос. – Заверши его! Уничтожь эти подсвечники! Истреби это воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Погуби Шанматье! Это будет отлично. Можешь поздравить себя! Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Вот человек, вот старик, который не понимает, чего от него хотят, который, быть может, ничего не сделал дурного, невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоём имени, невинный, над которым твоё имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его жизни пройдет в мерзости и позоре! Отлично! Ты же будь честным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почетом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и окруженный восхищением; а в это время, пока ты будешь здесь, среди радости и света, кто-то, на кого наденут твою красную арестантскую куртку, будет носить твоё обесчещенное имя и влачить на каторге твою цепь! Да, ты ловко устроил все это! О, презренный!»

Пот градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил внутри его, ещё не кончил. Голос продолжал:

«Жан Вальжан! Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко; но раздастся один голос, которого не услышит никто и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек! Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до господ бога!»

Этот голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, постепенно становился громче и теперь, оглушительный и грозный, гулко отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он слышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам.

– Кто здесь? – спросил он вслух, в полной растерянности.

Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе:

– Как я глуп! Кому же здесь быть?

И все же здесь был некто; но этот «некто» не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз.

Господин Мадлен поставил подсвечник на камин.

И снова начал он то монотонное и зловещее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели.

Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло его. Когда с нами случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути, могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался.

Оба решения, которые он принял – сперва одно, потом другое, – внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность этот Шанматье, которого приняли за него! То самое средство, которое, как ему казалось сначала, было ниспослано судьбой, чтобы упрочить его положение, разверзло перед ним пропасть!

На миг он заглянул в будущее. Донести на себя, боже великий! Выдать себя! С безмерным отчаяньем он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. Итак, ему предстояло сказать «прости» этому существованию – такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе! Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям! Не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров! Расстанется с этим домом, который выстроил он сам, с этой маленькой комнаткой! Все казалось ему сейчас таким чудесным. Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим маленьким некрашеным столом. Старуха привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренний кофе. И вместо этого – боже правый! – каторга, железный ошейник, арестантская куртка, цепь на ноге, тяжелая работа, карцер – все эти ужасы, уже известные! И это в его возрасте, после того как он был тем, кем он был! Если бы еще он был молод! Но на старости лет слышать «ты» от первого встречного, давать себя обыскивать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары! Ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги! Каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток из пальмового дерева, проверяющий звенья цепи! Терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить: «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монрейле-Приморском!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта, в паре с другим каторжником, по судовой лестнице, возвращаясь в плавучий острог! О, какая мука! Ужели судьба может быть зла, как мыслящее существо, и так же уродлива, как человеческое сердце!

И все время, снова и снова, он возвращался к мучительной дилемме, лежащей в основе его тяжелого раздумья: остаться в раю и там превратиться в демона или же вернуться в ад и стать там ангелом.

Что делать, боже великий, что делать?

Буря, укрошенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились какая-то неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль» и вместе с ним два стиха из песенки, которую он слышал когда-то. Ему вспомнилось, что Роменвиль – это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень.

Он потерял равновесие – не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного.

Минутами, борясь с усталостью, он силился вновь овладеть своим рассудком. Он пытался в последний раз, и уже навсегда, поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя? Должен ли молчать? Ему никак не удавалось мыслить отчетливо. Всевозможные доводы, которые намечало его воображение,

словно теряли форму и, колеблясь, рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что, какое бы решение из этих двух он ни принял, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет; что – направо ли, налево ли – перед ним равно зияет могила; что сейчас он переживает предсмертную агонию, агонию своего счастья или агонию своей добродетели.

Увы! Все сомнения вновь завладели им. Он был так же далек от решения, как и вначале.

Так билась под гнетом мучительной тревоги эта злополучная душа. За тысячу восемьсот лет до того, как жил этот несчастный человек, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, дувшим из бесконечности, таинственное существо, воплотившее в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстраняло рукою страшную чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму, в звездных глубинах неба.

## Глава 4

### Страдание принимает во сне странные образы

Пробило три часа полуночи; он шагал так, почти без отдыха, уже пять часов подряд и наконец в изнеможении опустился на стул.

Здесь он заснул, и ему приснился сон.

Сон этот, как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного, но он произвел на него большое впечатление. Этот кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаем нужным привести здесь дословно ее содержание.

Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи оказалась бы неполной. Это эпизод из мрачных скитаний больной души.

Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись: *Сон, который приснился мне в ту ночь.*

«Я находился в поле. В широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило – днем или ночью.

Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, с тем братом, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл.

Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и, с тех пор как поселилась в комнате, выходящей на улицу, всегда шла у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно, оттого что это окно было открыто.

В поле не было ни одного дерева.

Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек, тело у него было цвета пепла, и сидел он верхом на лошади цвета земли. У человека не было волос; мы видели его голый череп и на черепе жилы. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не сказав ни слова.

Брат сказал мне: «Пойдем ложбиной».

Мы пошли ложбиной, где не увидели ни кустика, ни горсточку мха. Все было цвета земли, даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял, что брата уже нет со мной.

Заметив деревню, я вошел в нее. Мне подумалось, что, должно быть, это Роменвиль (почему Роменвиль?)<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Эти скобки поставлены рукой Жана Вальжана.

Первая улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой улице. На перекрестке этих улиц стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Что это за местность? Где я?» Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта, и вошел в дом.

Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонясь к стене. Я спросил у человека: «Чей это дом? Где я?» Человек ничего не ответил.

При доме был сад. Я вышел из дома и вошел в сад. Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него: «Что это за сад? Где я?» Человек ничего не ответил.

Я блуждал по этой деревне и тут заметил, что это город. Все улицы были пустынные, все двери открыты. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало по комнатам, не гуляло в садах. Но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял человек, который молчал. И везде было только по одному человеку. Эти люди смотрели, как я проходил мимо.

Я вышел из города и стал бродить по полям.

Спустя некоторое время я обернулся и увидел целую толпу, шедшую за мной следом. Я узнал всех тех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Незаметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были цвета земли.

И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?»

Я хотел было ответить, но увидел, что возле меня никого нет».

Он проснулся. Он весь продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на своих петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас. Свеча догорала. Было еще совсем темно.

Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда не светила в небе.

Из окна видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно прозвучавший по мостовой, заставил его опустить глаза.

Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке.

Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения. «Как странно! – подумал он. – Их нет в небе, теперь они спустились на землю».

Однако мгла эта рассеялась: другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его, – он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить очертания этого экипажа. То было тильбюри, запряженное маленькой белой лошастью. Услышанный им шум – был топот конских копыт по мостовой.

«Что это за экипаж? – подумал он. – Кто мог приехать так рано?»

В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он весь задрожал и крикнул страшным голосом:

– Кто там?

Чей-то голос ответил:

– Это я, господин мэр.

Он узнал голос старушки, своей привратницы.

– Что такое? – спросил он. – Что вам нужно?

– Господин мэр, только что пробило пять часов утра.

– Ну и что же?

– Господин мэр, кабриолет подали.

– Какой кабриолет?

– Тильбюри.

- Какое тильбюри?
- А разве вы не заказывали тильбюри, господин мэр?
- Нет, – ответил он.
- А кучер говорит, что приехал за господином мэром.
- Какой кучер?
- Кучер от господина Скофлера.
- От Скофлера?

Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния.

– Ах, да! – сказал он. – От Скофлера.

Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась.

Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась спросить еще раз:

- Что прикажете ответить ему, господин мэр?
- Хорошо, скажите, что я сейчас сойду вниз.

## Глава 5

### Палки в колесах

В ту эпоху почтовое сообщение между Аррасом и Монрейлем-Приморским еще осуществлялось при помощи маленьких кареток времен Империи. Эти каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей; в них было только два места – одно для нарочного, другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почти-тельном расстоянии; такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный и продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а сама каретка – в желтый.

Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались какими-то уродливыми и горбатыми; издали, когда они медленно ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами, которые, при короткой передней части туловища, тащат за собой огромную заднюю его часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи, после прихода парижской почты, прибывала в Монрейль-Приморский около пяти часов утра.

В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль-Приморский по эсденской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькое, запряженное белой лошастью тильбюри, которое направлялось в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо тильбюри получило довольно чувствительный толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью.

– Вот человек, которому чертовски некогда! – заметил почтарь.

Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в единоборстве с самим собою, в душевной муке, вполне достойной сострадания.

Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал вперед наудачу. Куда? Конечно, в Аррас; но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в эту ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий поймет это. Кому из людей не приходилось хотя бы раз в жизни вступить в эту мрачную пещеру неведомого?

Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильней, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность самых первых минут.

Зачем он ехал в Аррас?

Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера: что, каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и самому в этом разобраться; что этого требует даже и простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем; что, не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать; что издали всегда делаешь из мухи слона; что, быть может, увидев этого Шанматье, вероятно, негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место; что там, правда, будет Жавер, будут Бреве, Шенильдье и Кошпайль, но разве они узнают его? – какая нелепость! – а Жавер теперь далек от всяких подозрений; что все предположения и все догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямее предположений и догадок; что, следовательно, никакой опасности и не существует.

Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их; что, как бы ни была жестока его судьба, но, в конце концов, она в его руках, что он сам волен в ней. Он жадно цеплялся за эту мысль.

Однако, если говорить откровенно, он предпочел бы не ехать в Аррас.

И все же он ехал туда.

Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая по два с половиной лье в час.

По мере того как кабриолет подвигался вперед, он чувствовал, как в нем самом что-то отступает назад.

Перед восходом солнца он был в открытом поле; город Монрейль-Приморский уже остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт; он смотрел, не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои призраки, так же как и у вечера. Он не видел их, но помимо его сознания эти мрачные силуэты деревьев и холмов, путем какого-то почти физического проникновения, добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе.

Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе: «А люди спокойно спят там, внутри!»

Топот лошади, позвякивание бубенчиков на сбруе, стук колес по мощеной дороге сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело, и тоскливым – когда ему грустно.

Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсен. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь овсом и дать ей передохнуть.

Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе, которая отличается чрезмерно большой головой и брюхом, короткой шеей, но вместе с тем и широкой грудью, широким крупом, крепкими бабками и поджарыми сильными ногами, – некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины.

Он не вышел из тильбюри. Конюх, принесший овес, вдруг нагнулся и начал рассматривать левое колесо.

– И много вы проехали так? – спросил он.

– А что? – ответил путник, по-прежнему погруженный в свои мысли.

– Я говорю – вы издалека? – повторил конюх.

– Я проехал пять лье.

– Ого!

– Почему «ого»?



Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал:

– Потому что, если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверти лье.

Путник выскочил из тильбюри.

– Что вы говорите, друг мой?

– Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошастью в какую-нибудь придорожную канаву. Да вы взгляните сами.

Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы; ступица тоже пострадала: гайка на ней едва держалась.

– Скажите, друг мой, – спросил путник у конюха, – нет ли здесь у вас тележника?

– Как не быть, сударь.

– Так я попрошу вас, сходите за ним.

– Да он здесь, в двух шагах. Эй! Дядюшка Бургальяр!

Дядюшка Бургальяр, тележник, стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу.

– Вы можете немедленно починить это колесо?

– Могу, сударь.

– Когда мне можно будет выехать?

– Завтра.

– Как завтра?

– Тут хватит работы на целый день. А что, сударь, разве вы так спешите?

– Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже чем через час.

– Это никак нельзя, сударь.

– Я не постою за деньгами.

– Никак нельзя.

– Ну, хорошо. Через два часа.

– Нет, сегодня нельзя. Ведь надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь, вы никак не сможете выехать до завтра.

– Но дело, по которому я еду, не терпит до завтра. А что, если не чинить это колесо, а просто заменить его новым?

– Это как же?

– Да ведь вы тележник?

– Точно так, сударь.

– Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же.

– Колеса взамен вот этого?

– Да.

– Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса ведь делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу.

– Так продайте мне пару колес.

– Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси.

– Да вы попробуйте.

– Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас ведь здесь глухое место.

– А нет ли у вас кабриолета напрокат?

Каретный мастер с первого же взгляда распознал, что тильбюри было наемное. Он пожал плечами.

– Недурно же вы разделяетесь с кабриолетами, которые берете напрокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал.

– А не найдется ли у вас продажного кабриолета?

– Нет, не найдется.

– Как? Даже и двуколки? Как видите, я не привередлив.

– У нас здесь глухое место. Правда, – добавил тележник, – есть у меня в сарае одна старая коляска. Хозяин ее, из наших городских, поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее напрокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и, кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара.

– Я найму пару почтовых лошадей.

– А вы куда едете, сударь?

– В Аррас.

– И хотите добраться туда за один день?

– Непременно.

– Это на почтовых-то лошадях?

– Почему бы и нет?

– А ничего, если вы приедете туда часа этак в четыре утра?

– Нет, это поздно.

– Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях... А разрешение на это при вас, сударь?

– Да.

– Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Аррасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки, лошадей нанимают где только можно – и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков.

– Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас здесь продажное седло.

– Найдись-то найдется, да ходит ли ваша лошадь под седлом?

– Правда, я совсем забыл об этом. Нет, под седлом она не ходит.

– Ну, значит...

– Да неужели я не найду в деревне наемную лошадь?

– Лошадь, которая без передышки добежит до самого Арраса?

– Да.

– В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся ни за пятьсот, ни даже за тысячу франков.

– Как же быть?

– Сказать по чести, самое лучшее будет, если я починю ваше колесо и вы отложите поездку до завтра.

– Завтра будет уже поздно.

– Ничего не поделаешь!

– Кажется, здесь проходит почтовая карета на Аррас. Когда она должна прибыть?

– Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам, и туда и оттуда.

– Скажите, неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?

– Целый день, да еще какой работы!

– А если взять помощника?

– Хоть десятерых.

- Нельзя ли связать спицы веревками?
- Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя. Да и обод еле держится.
- Нет ли в городе человека, который отдаст внаем лошадей?
- Нет.
- Нет ли другого тележника?

Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили:

- Нет.

Он почувствовал невыразимую радость.

В дело вмешалось провидение – это было очевидно. Это оно сломало колесо тильбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу, он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все возможные средства; он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками; ему не в чем было упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то уже не по своей вине; это не его воля, это воля провидения.

Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно и полной грудью. Ему показалось, что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась.

Он решил, что теперь бог на его стороне и что этим он явил ему свое присутствие.

Он сказал себе, что сделал все возможное и что сейчас ему остается лишь одно: спокойно вернуться обратно.

Если бы беседа с тележником происходила в зале трактира, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и кончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю; но разговор этот происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает кружок любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановилось несколько случайных прохожих. Послушав немного, какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал.

В ту минуту, как путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказывали, и решил повернуть обратно, этот мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина.

- Сударь, – сказала она, – правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?

При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его.

Он ответил:

- Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет.

И поспешил добавить:

- Но здесь его нет.
- Есть, – ответила старуха.
- У кого же это? – спросил тележник.
- У меня, – ответила старуха.

Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его.

У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело:

– И не двуколка это, а настоящая трясушка, кузов у нее стоит прямо на оси; сиденье, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее прямо течет; колеса все проржавели; и уедешь на ней ненамного дальше, чем на этом тильбюри, – настоящая рухлядь! Несдобровать тому, кто на ней поедет, и т. д., и т. д.

Они говорили правду, но эта трясушка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах и на ней можно было ехать в Аррас.

Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тильбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра.

Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад испытал некоторую радость при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов, он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает.

И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам.

Выезжая из Эсдена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший: «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором еще было что-то лихорадочное и судорожное, что-то похожее на надежду.

Это был сын той старухи.

– Сударь, – сказал он, – ведь это я раздобыл двуколку.

– Ну и что же?

– А вы мне ничего не дали.

Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким.

– Ах, это ты, негодный мальчишка? – крикнул он. – Ты ничего не получишь!

Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью.

Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была бодрая и везла за двоих, но стоял февраль месяц, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка – не тильбюри. Она была неуклюжа и очень тяжела. А вдобавок еще множество подъемов в гору.

Чтобы добраться от Эсдена до Сен-Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье!

В Сен-Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвести ее в конюшню. Верный обещанию, данному им Скофлеру, он сам стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны.

Трактирщица вошла в конюшню.

– Не угодно ли вам будет позавтракать, сударь?

– В самом деле, – сказал он, – я действительно сильно проголодался.

Он последовал за женщиной; у нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой.

– Только поскорее, – сказал он, – мне надо сейчас же ехать. Я спешу.

Толстуха фламандка торопливо поставила ему прибор. Он смотрел на служанку с чувством удовольствия.

«В этом все дело, – подумал он, – я не завтракал сегодня».

Ему подали еду. Он набросился на хлеб, откусил кусок, потом медленно положил хлеб на стол и больше не дотронулся до него.

За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник сказал ему:

– Отчего это хлеб у них такой горький?

Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади.

Через час он выехал из Сен-Поля, направляясь в Тенк, откуда до Арраса было только пять лье.

Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом новом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу

и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть тысячу предметов в первый и последний раз – что может быть печальнее этого и вместе с тем глубже! Путешествовать – значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки – тьма; вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение; каждое событие – это поворот дороги; и вдруг приходит старость. Вы чувствуете какой-то толчок, вокруг темно; вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который привез вас сюда, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке.

Вечерело, уже дети выходили из школы, когда путник въехал в Тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в Тенке. Когда он выезжал из деревни, рабочий, мостивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал:

– До чего заморили лошадь.

В самом деле, бедное животное уже плелось шагом.

– Вы куда едете, в Аррас? – спросил рабочий.

– Да.

– Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете.

Путник остановил лошадь и спросил у рабочего:

– Сколько еще отсюда до Арраса?

– Добрых семь лье.

– Как же так? По почтовому расписанию значится только пять с четвертью.

– А-а! Вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, – сказал рабочий. – В четверти часа отсюда она загорожена, и проезда нет.

– В самом деле?

– Сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку и, когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Аррас, через Мон-Сент-Элуа.

– Но ведь скоро стемнеет. Я могу заблудиться.

– Так вы не здешний?

– Нет.

– Это хуже. Тем более что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, – сказал рабочий, – я вам дам совет. Лошадь у вас устала, воротитесь-ка вы в Тенк. Там есть хороший постоялый двор, переночуете там. А завтра поедете в Аррас.

– Я должен быть в Аррасе сегодня вечером.

– Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите там пристяжную. А конюх проводит вас по проселочной дороге.

Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью, с хорошей пристяжной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки.

Между тем времени было потеряно много – путник чувствовал это.

Стало уже совсем темно.

Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник сказал почтарю:

– Гони рысью, получишь на выпивку вдвойне.

На одной из рытвин переломился валец.

– Сударь, – сказал почтарь, – сломался валец. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью очень трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Аррасе.

– Есть у тебя веревка и нож? – спросил путник.

– Есть, сударь.

Он срезал с дерева ветку и сделал валец.

На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскачь.

Равнина была окутана мраком. Короткие и черные клочья тумана снизу наплывали на холмы и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал во всех концах горизонта, словно кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг застыло от страха. Все трепещет пред этим могучим дыханием ночи!

Холод пронизывал путника до костей. Он не ел со вчерашнего дня. Ему смутно припоминалось другое ночное странствие – по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера.

Пробили часы на какой-то отдаленной колокольне. Он спросил у конюха:

– Который это час?

– Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье.

В эту минуту ему впервые пришло в голову – и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, – что, возможно, все его усилия напрасны; что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела; что он должен был осведомиться хотя бы об этом; что опрометчиво было ехать наобум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра; что это дело не могло затянуться надолго – вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени; что после него оставалось только установить тождество личности, то есть пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей; словом, что он приедет, когда все уже будет кончено.

Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и оставили за собой Мон-Сент-Элуа.

Становилось все темнее и темнее.

## Глава 6

### Испытание сестры Симплиции

Между тем Фантина в эту самую минуту была преисполнена радости.

Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейшая лихорадка; ее мучили какие-то сны. Утром, во время посещения врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет г-н Мадлен.

Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее совсем ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и начинали сиять, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света.

Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она всякий раз неизменно отвечала: «Хорошо. Но мне хотелось бы видеть господина Мадлена».

Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла свой последний стыд и свою последнюю радость, она была собственной тенью, теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отравивших белокурых волосах появилась седина. Увы! Как искусно болезнь надевает на нас личину старости!

В полдень врач пришел еще раз, сделал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу г-н мэр, и покачал головой.

Обычно г-н Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты.

Около половины третьего Фантина начала волноваться. На протяжении двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини: «Сестрица, который час?»

Но вот пробило три часа. После третьего удара Фантина, которая в обычное время лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые, желтые руки, и монахиня услышала, как из ее груди вырвался тот глубокий вздох, который говорит, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь.

Однако никто не вошел, дверь оставалась закрытой.

Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробило четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку.

Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складки.

Прошло полчаса, прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку.

Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее нисходил какой-то мрак. Она была бледна, как смерть, и губы у нее совсем посинели. Время от времени она улыбалась.

Пробило пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко: «Завтра я уйду, и он нехорошо поступил, что не пришел сегодня!»

Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что г-н Мадлен запаздывал.

А Фантина смотрела теперь вверх, на полог своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, подобно дуновению ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:

Чудесных вещей мы накупим, гуляя  
По тихим предместьям в воскресный денек.  
Ах, белая роза, малютка родная,  
Ах, белая роза, мой нежный цветок!  
Вчера мне Пречистая Дева предстала –  
Стоит возле печки в плаще золотом  
И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала –  
Я дочку тебе принесла под плащом».  
– Скорей, мы забыли купить покрывало,  
Беги за иголкой, за ниткой, холстом.  
Чудесных вещей мы накупим, гуляя  
По тихим предместьям в воскресный денек.  
«Пречистая, вот колыбель, поджидая,  
Стоит в уголке за кроватью моей.  
Найдется ль у бога звезда золотая,  
Моей ненаглядной дочурки светлей?»  
– Хозяйка, что делать с холстом? – Дорогая,  
Садись, для малютки приданое шей!  
Ах, белая роза, малютка родная,  
Ах, белая роза, мой нежный цветок!  
– Ты холст постирай. – Где же? – В речке

прохладной.  
Не пачкай, не порть – сядь у печки с иглой  
И юбочку сделай да лифчик нарядный,  
А я на нем вышию цветок голубой.  
– О горе! Не стало твоей ненаглядной!  
Что делать? – Мне саван готовь гробовой.  
Чудесных вещей мы накупим, гуляя  
По тихим предместьям в воскресный денек.  
Ах, белая роза, малютка родная,  
Ах, белая роза, мой нежный цветок!

Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой, суровой жизнью, почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы.

На башенных часах пробило шесть. Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее.

Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице справиться, не пришел ли домой г-н мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась.

Фантина по-прежнему лежала неподвижно, казалось, она вся ушла в свои мысли.

Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что г-н мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадью, – уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на аррасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его по дороге на Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали.

Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины, причем сестра задавала вопросы, а служанка высказывала свои догадки. Тем временем Фантина, с присущей некоторым органическим недугам лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесок. Внезапно она вскричала:

– Вы говорите о господине Мадлене! Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит?

Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге.

– Отвечайте же! – кричала Фантина.

Служанка пролепетала:

– Привратница сказала, что он не может прийти сегодня.

– Дитя мое, – сказала сестра, – успокойтесь, лягте.

Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время раздирающим душу тоном:

– Не может прийти? Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать.

Служанка торопливо проговорила на ухо монахине: «Скажите, что он в муниципальном совете».



Сестра Симплиция слегка покраснела: служанка посоветовала ей солгать. С другой стороны, она и сама понимала, что сказать больной правду – значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбегала с ее лица. Сестра подняла на Фантину свой спокойный, грустный взгляд и сказала:

– Господин мэр уехал.

Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерной радостью засияло ее страдальческое лицо.

– Уехал! – вскричала она. – Он поехал за Козеттой!

Она протянула обе руки к небу, вся преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились; она тихо читала молитву.

Помолившись, она сказала:

– Сестрица, сейчас я лягу, я буду делать все, что мне прикажут; я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко, я знаю, что нехорошо говорить громко; но, видите ли, милая сестрица, я так рада. Господь бог так добр, господин Мадлен так добр, подумайте только, он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой!

Она улеглась, помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее маленький серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией.

– Дитя мое, – сказала сестра, – теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше.

Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры, и та с огорчением ощутила эту испарину.

– Сегодня утром он уехал в Париж. А ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермейль немного левее. Помните, как вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил: «Скоро, скоро!» Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица, не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова, у меня больше нигде ничего не болит, я увижу Козетту... я даже захотела есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку! И потом она так мила, да вот вы увидите сами! Если бы вы знали, какие у нее пальчики – хорошенькие, розовые! У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные! Такие вот! Теперь она уже, наверно, совсем большая. Шутка ли сказать, ей семь лет. Настоящая барышня. Я зову ее Козеттой, но ее правильное имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Надо бы людям всегда помнить, что жизнь у нас не вечная! О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе так холодно? По крайней мере взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он придет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль – это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он казался таким длинным. Но дилижансы ходят очень быстро! Завтра он будет здесь с Козеттой. Скажите, сколько отсюда до Монфермейля?

Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила:

– О, я уверена, что завтра он уже может быть здесь.

– Завтра! Завтра! – повторяла Фантина. – Завтра я увижу Козетту! Вы знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать, если угодно.

Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившейся в ней перемены. Она вся порозовела, голос ее звучал естественно и живо, лицо сияло улыбкой. Она то и дело смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери – это почти то же, что радость ребенка.

– Вот что, – сказала монахиня, – теперь вы счастливы, так будьте же послушны и перестаньте разговаривать.

Фантина положила голову на подушку и вполголоса говорила:

– Да, да, ложись, будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все те, кто здесь, правы.

Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова.

Сестра задернула полог, надеясь, что она задремлет.

Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полог, он увидел при свете ночника устремленные на него большие и спокойные глаза Фантины.

Она сказала ему:

– Господин доктор, мне ведь позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?

Врач решил, что она бредит. Она добавила:

– Посмотрите, тут как раз хватит места.

Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело: г-н Мадлен уехал на день или два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять больную, решившую, что г-н мэр отправился в Монфермейль; в сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру.

Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала:

– Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит, – ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки.

– Дайте руку, – сказал врач.

Она протянула руку и вскричала со смехом:

– Ах, да! Ведь и правда, вы не знаете еще! Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта.

Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело.

– Господин доктор, – продолжала она, – сказала ли вам сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?

Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье, на случай если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре:

– Ей лучше. Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком – как знать? – бывают иногда такие изумительные переломы; известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много тайн! Быть может, мы еще и спасем ее.

## Глава 7

### Приезжий обеспечивает себе обратный путь

Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота Почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента; отослав пристяжную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку; затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся там, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть – здесь не было его вины. И в глубине души он не досадовал на это.

Вышла хозяйка гостиницы.

– Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?

Он отрицательно покачал головой.

– А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала.

При этих словах он нарушил молчание.

– Вы думаете, что ей не под силу пуститься в обратный путь завтра утром?

– Помилуйте, сударь! Ей надобно отдохнуть по крайней мере двое суток.

Он спросил:

– Кажется, здесь помещается почтовая контора?

– Да, сударь.

Хозяйка проводила его в эту контору, он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль-Приморский с почтовой каретой; место рядом с почтарем оказалось еще не занятым; он оставил его за собой и заплатил за него. «Сударь, – сказал конторщик, – только не опаздывайте, карета отправляется ровно в час ночи».

Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу.

Он совсем не знал Арраса; улицы были малолюдны, он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через небольшую речку Креншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел какой-то горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, причем предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать.

– Сударь, – сказал он, – скажите, пожалуйста, где находится здание суда?

– Вы, должно быть, нездешний, сударь, – ответил прохожий, уже почти старик, – пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура, так как здание суда сейчас ремонтируется и судебные заседания происходят в префектуре.

– И суд присяжных тоже заседает там? – спросил он.

– Конечно. Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзьё, который был епископом в восемьдесят втором году, выстроил там большой зал. В этом-то зале и заседает суд.

Добрый старик сказал ему:

– Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас немного поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов.

Однако, когда они вышли к широкой площади, старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания.

– Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это-то и есть судебный зал. Там светло. Значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что – вас интересует это дело? Это, должно быть, уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля?

Он ответил:

– Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката.

– Ах, так? – сказал старик. – Да вот и дверь, сударь. Та, возле которой стоит часовая. Вам надо будет только подняться по главной лестнице.

Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в какой-то комнате, где было много народа и где отдельные группы людей вперемешку со стряпчими в судебных мантиях перешептывались между собой.

Сердце всегда невольно сжимается при виде этих фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти

группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, какими-то темными ульями, где жужжащие духи сообща замышляют мрачные козни.

Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одним из приемных залов епископского дворца, а теперь служила залом ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большого зала, где заседал суд присяжных.

Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему.

– Сударь, – спросил он, – в каком положении дело?

– Дело кончено, – ответил стряпчий.

– Кончено!

Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся.

– Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?

– Нет. Я никого здесь не знаю. И каков приговор – обвинительный?

– Конечно. Ничего иного нельзя было и ждать.

– Каторжные работы?..

– Пожизненная каторга.

– Значит, тождество личности установлено? – произнес путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать.

– Какое там тождество? – ответил стряпчий. – Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Эта женщина убила своего ребенка, детоубийство было доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге.

– Так это женщина? – проговорил он.

– Разумеется, женщина. Девица Лимозен. А вы о чем говорите?

– Да так, ни о чем. Но если дело кончено, то почему же зал все еще освещен?

– Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад.

– Какое же дело?

– О, тоже очень простое. Какой-то бродяга, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия. За одну эту физиономию я бы сослал его на галеры.

– Сударь, – спросил путник, – есть ли возможность попасть в зал?

– Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится.

– Где вход?

– Здесь. Через эти большие двери.

Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли его, как раскаленное железо. Узнав, что ничего еще не кончено, он вздохнул; но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби.

Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Эта сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один и тот же день два несложных и коротких дела. Начали с детоубийства, а теперь разбиралось дело каторжника, рецидивиста, «обратной кобылки». Последний украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано; зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, и свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден: товарищ прокурора очень искусен и никогда не «упускает» своих подсудимых; это человек с умом, он даже стихи пишет.

У двери в зал заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него:

- Скажите, скоро ли откроют двери?
  - Их совсем не откроют, – ответил пристав.
  - Как! Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв?
  - Заседание уже началось, – ответил пристав, – но дверей открывать не будут.
  - Почему?
  - Потому что зал полон.
  - Как? Неужели нет ни одного места?
  - Ни одного. Дверь заперта, и никого больше в зал не пустят.
- Помолчав, судебный пристав добавил:

– Правда, за креслом господина председателя есть еще два или три свободных места, но господин председатель разрешает занимать их только должностным лицам.

С этими словами пристав повернулся к нему спиной.

Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через зал ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился и каждую секунду лишь вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки лестницы, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря быстро набросал на нем одну строчку: «г-н Мадлен, мэр Монрейля-Приморского». Затем быстрым шагом он снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел прямо к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном:

– Передайте господину председателю.

Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.

## Глава 8

### Вход для избранных

Сам того не подозревая, мэр Монрейля-Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булонэ, вышла в конце концов за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла: из всех ста сорока одной общины Монрейльского округа не нашлось бы такой, которая бы не была ему чем-либо обязана. Он умудрялся даже, если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Так, были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булони, механическую льнопрядильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере-на-Канше. Повсюду с благоговением повторяли имя г-на Мадлена. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю-Приморскому, которым управляет такой мэр.

Член королевского суда в Дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное столь глубоким и столь единодушным уважением. Когда судебный служитель, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в зал заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю, добавил: «Этот господин хочет присутствовать на заседании суда», председатель живо повернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек и передал ее служителю со словами: «Пропустите».

Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей зала на том же месте и в той же позе, как его оставил судебный пристав. Словно сквозь сон, он услышал чьи-то обращенные к нему слова: «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной,

теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее и, так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть: «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену».

Он скомкал записку в руке, словно в этих немногих словах таился для него какой-то странный и горький привкус.

Он последовал за приставом.

Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного служителя, с которым он только что расстался: «Сударь, это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний позади кресла господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, которыми он только что проходил.

Судебный пристав оставил его одного. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это не удавалось ему. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас именно в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и одновременно грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он.

Он ничего не ел более суток, он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого; ему казалось, что он вообще ничего не чувствует.

Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана-Никола Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть по ошибке, девятым *июня* II года и в котором Паш посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения, подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его два или три раза кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте.

Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от зала заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его, вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее; потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, и крупные капли потекли по вискам.

Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест – тот не поддающийся описанию жест, который должен означать и так ясно означает: «Черт возьми! Да кто же может меня заставить?» Затем он быстро повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату; теперь он был вне ее: в коридоре, в длинном и узком коридоре со ступеньками и переходами, образующем множество углов и поворотов, скупо освещенном фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, – словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался: ни малейшего шума ни впереди, ни позади него; он пустился бежать, словно спасаясь от погони.

Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задыхаясь, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным; он выпрямился, весь дрожа.

И тогда, один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может, и не только от холода, он задумался.

Перед этим он думал всю ночь, думал весь день; теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил: «Увы!»

Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно изнемогая. Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно.

Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно какая-то грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру.

Он не мог отвести от нее взгляда.

Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери.

Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из соседнего зала; но он не слушал и не слышал.

Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку; дверь отворилась.

Он был в зале заседаний.

## Глава 9

### Место, где слагаются убеждения

Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь кругом.

Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины; здесь на глазах у толпы разворачивались перипетии уголовного процесса во всей их убогой и зловещей торжественности.

В том конце зала, где он сейчас находился, – судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или просто сидящие, полувзглядывая глаза; в другом конце – толпа оборванных людей; стряпчие в самых разнообразных позах; солдаты с честными и суровыми лицами; стены, обитые старыми панелями и все в пятнах; грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой; почерневшие захватанные двери; на гвоздях, вбитых в обшивку стен, кенкеты, какие горят в кабачках и дают больше копоти, нежели света; сальные свечи в медных подсвечниках на столах; полумрак, неприглядность, тоска; и тем не менее все вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием.

Никто в этой толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к маленькой дверке в стене, по левую руку от председателя; на этой скамье, освещенной несколькими свечами, меж двух жандармов сидел человек.

Это был тот самый человек.

Вошедший не искал его: он увидел его сразу. Его глаза сами собой остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место.

Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего; разумеется, это лицо не было точной копией его лица, но манера держать себя, общий вид были поразительно схожи: те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза, точно такая же, какая была на нем самом в тот день, когда, исполненный ненависти и схоронив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в Динь.

И, содрогнувшись, он сказал себе: «О боже! Неужели я опять стану таким?»

Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное.

При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его, председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля-Приморского, поклонился ему. Товарищ прокурора, который встречался с г-ном Мадленом в Монрейле-Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Новоприбывший едва заметил все это. Он был во власти какой-то галлюцинации; он смотрел на другое.

Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства – все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы, они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж мысли – нет, теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови. Свершилось: чудовищные призраки прошлого вновь обступили его; они воскресли со всей грозной силой реальности.

Зияющая бездна разверзлась перед ним.

Он ужаснулся ей, закрыл глаза и вскричал в самой сокровенной глубине своей души: «Никогда!»

И благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь свое второе «я». Человека на скамье подсудимых все присутствовавшие звали – Жан Вальжан!

У него на глазах происходило нечто невероятное: перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его собственный призрак.

Все, все было здесь: та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили ему приговор, бог отсутствовал.

Позади него был стул; он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всего зала. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему полностью вернулось ощущение действительности; он достиг той степени спокойствия, при которой уже можно слушать.

Господин Баматабуа был в числе присяжных.

Новоприбывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. И кроме того, как мы уже упоминали, зал был освещен очень скудно.

В ту минуту, когда он вошел, защитник обвиняемого заканчивал свою речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело тянулось уже три часа. Уже три часа кряду толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое существо, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым «левадой Пьерона»; в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, выслушали свидетелей, все показания совпали, судебное разбирательство пролило полную ясность на это дело. Обвинение гласило: «Перед нами не только вор, укравший несколько яблок, не простой мародер; перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый, опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер, совершил на большой дороге вооруженное нападение на некоего маленького савояра по имени Малыш Жерве; это преступление предусмотрено статьей 383 Уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда тождество личности будет установлено судебным порядком. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слу-



шая эти обвинения, видя единодушные свидетельских показаний, подсудимый прежде всего казался удивленным. Иногда он принимался жестиковать, словно хотел сказать знаками: «Нет, нет», иногда же тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура с головы до пят являлась олицетворенным отрицанием. Он выглядел каким-то идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим посреди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало самое страшное будущее; справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам, ждала этого приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него бесчисленными бедами. В случае если бы тождество личности было установлено, а дело Малыша Жерве в дальнейшем тоже бы закончилось обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? Почему он так безучастен? Что это – слабоумие или притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да, пожалуй, и самих присяжных, на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время загадочное; драма была не только мрачной, она была темной.

Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Роморантене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется *супругом*, а жена *супругой*. Париж – *средоточием искусств и цивилизации*, король – *монархом*, монсеньор епископ – *святым прелатом*, помощник прокурора – *красноречивым представителем обвинения*, защитительная речь – *словесами, коим мы только что внимали*, век Людовика XIV – *великим веком*, театр – *храмом Мельпомены*, царствующая фамилия – *августейшей нашей династией*, концерт – *музыкальным празднеством*, начальник военного округа – *доблестным воином, который и пр.*, воспитанники семинарии – *нашими кроткими левитами*, ошибки, вменяемые прессе, – *клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов*, и пр., и пр. Итак, адвокат начал с выяснения вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Боссюэ в своей надгробной речи вынужден был упомянуть о некоей курице и с честью вышел из этого затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, перелезл через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка (которую адвокат предпочитал именовать «ветвью»), но он сказал, что нашел ветку на дороге и подобрал ее. Имелось ли хоть одно доказательство противного? Конечно, эта ветка была сломана и похищена путем вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародером; конечно, вор существовал; но где доказательство, что этим вором был именно Шанматье? Только одно: предположение, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение было как будто бы подкреплено вескими доводами: подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался там подрезкой деревьев, имя Шанматье вполне могло произойти из Жана Матье, – все это совершенно справедливо; наконец, четыре свидетеля, не колеблясь, самым определенным образом признали в Шанматье каторжника Жана Вальжана. Всем этим заявлениям, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить лишь одно – заpiresательство своего подзащитного, заpiresательство заинтересованного лица; но, если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый – и защитник «чистосердечно» признает это – избрал «дурную систему самозащиты». Он упорно отрицает все – и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он, без сомнения, поступил бы более благоразумно и снискал бы

этим благосклонность своих судей; защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно надеясь скрыть все, не признаваясь ни в чем. Он поступал нехорошо, но разве не следовало принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительные несчастья на каторге, длительная нищета после каторги – все это привело его к одичанию и т. д., и т. д. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу Малыша Жерве, то он, адвокат, не собирается обсуждать его, оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям с просьбой применить к подсудимому, в случае если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, обычное полицейское взыскание, которое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства.

Товарищ прокурора выступил с ответной речью. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора.

Он похвалил защитника за его «лояльность» и весьма искусно использовал эту лояльность. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, по видимому, признавал и сам, что подсудимый – это Жан Вальжан. Что и было принято к сведению. Итак, этот человек – Жан Вальжан. Этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще и, прибегнув к искусной антономазии, обрушился на безнравственность романтической школы, бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из «Еженедельника» и из «Орифламмы»; влиянию этой-то извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Исчерпав эти рассуждения, он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой этот Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и т. д., и т. д. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе расиновского Ферамена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные «содрогнулись». Прокурор покончил с характеристикой и, в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера «Ведомостей префектуры», продолжал: «И подобный человек и пр., и пр., бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к существованию и пр., и пр., приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и мало исправленный пребыванием на каторге, как это доказывает нападение на Малыша Жерве, совершенное им, и пр., и пр, пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез и пр., и пр., отрицает очевидность, кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до своего тождества с Жаном Вальжаном. Помимо сотни других улик, которые мы не будем повторять здесь, его опознали четыре свидетеля: неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из его прежних сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шенильдье и Кошпайль. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Запирательство. Какая закоренелость! Господа присяжные заседатели, творите правосудие и пр., и пр.».

В то время как товарищ прокурора говорил, подсудимый слушал его разинув рот, с каким-то удивлением, не лишенным и некоторой доли восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени, в наиболее патетических местах обвинительного заключения, в те минуты, когда красноречие выходит из берегов, изливаясь в потоке позорящих эпитетов, и поражает подсудимого настоящими раскатами грома, он медленно качал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители, сидевшие от него ближе других, слышали, как он сказал вполголоса два или три раза: «А все оттого, что они не спро-

сили у господина Балю!» Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на этот его придурковатый вид, явно рассчитанный заранее, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие, и указывающий со всей очевидностью на «глубокую испорченность» этого человека. Он закончил, оговорив, что еще займется делом Малыша Жерве, и потребовал сурового приговора.

Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор грозил пожизненными каторжными работами.

Защитник встал, поздравил «господина товарища прокурора» с его «изумительной речью», потом привел все возражения, какие мог, но силы изменяли ему; было ясно, что почва ускользает у него из-под ног.

## Глава 10

### Система запирательства

Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом:

– Подсудимый, имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание?

Человек стоял на месте, комкая в руках свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса.

Председатель повторил его еще раз.

На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного; он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, своего защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто, вперемешку и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно.

Он сказал:

– Вот что. Я был тележником в Париже и служил у господина Балю. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении – никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь руку об руку, только бы согреться; но хозяева этого не любят – по-ихнему, это лишняя проволочка времени. Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое. Тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченный человек. А мне уж стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. К тому же в Париже все такой нехороший народ! «Старый хрыч, старый дурак!» – только и слышишь, как твое дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого, хозяева пользовались моими годами. Правда, у меня была дочь-прачка, занималась стиркой на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бадье, ветер хлещет прямо в лицо; мороз не мороз – все равно приходится стирать; у некоторых людей белья мало, и они не могут ждать подолгу; а если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, и брызги так и обдают вас со всех сторон. Юбка намокает снизу доверху. Все мокро насквозь. Она работала и в прачечной, в приюте Красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье. Стираешь под краном, а полощешь рядом, в лохани. Помещение закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это большой вред для глаз. Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать – уж очень сильно она устала. Муж бил ее. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала

по танцулькам. Такая уж смиренная уродилась. Помнится мне, был вторник на Масленой неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите кого хотите. Да что это я – «Спросите»! Какой я дурень! Ведь Париж – что омут, кто знает там дядюшку Шанматье? А все-таки я вам опять скажу про господина Балю, вот съездили бы вы к господину Балю. А то я уж и вовсе не понимаю, что вам от меня нужно.

Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз он прервал свою речь и поздоровался с каким-то человеком, сидевшим в публике. Своеобразные показания, которые он выкрикивал словно наобум, походили на икоту, и каждое из них он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели разразились смехом. Взглянув на публику и видя, что все хохочут, он, не понимая причины этого смеха, стал смеяться и сам.

Это было страшно.

Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово.

Он напомнил «господам присяжным», что «ссылка на упомянутого Балю, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, была совершенно бесполезной. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось». Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил его внимательно выслушать его слова и добавил:

– Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый, я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших собственных интересах ясно высказаться по следующим двум пунктам: во-первых, действительно ли вы перелезли через стену левады Пьерона, действительно ли сломали ветку и украли яблоки – другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном, отвечайте – да или нет?

Подсудимый тряхнул головой с видом смышленного человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал:

– Для начала...

Потом он посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал.

– Подсудимый, – снова начал товарищ прокурора суровым тоном, – будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана Матье – девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев. Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену левады Пьерона и совершили там кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов.

Теперь подсудимый уже сидел; но, когда товарищ прокурора замолчал, он неожиданно вскочил с места и крикнул:

– Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из Альи, шел после проливного дождя, и вся земля была совсем желтая, лужи, знаете, разлились тогда, и только с краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а все наговаривают на меня и твердят: «Отвечайте!» Вон и жандарм – он, видно, славный малый – толкает меня под локоть и тихонько шепчет: «Да отвечай же. А я не умею все как следует объяснить, я ведь совсем неученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите: «Жан Вальжан, Жан

Матье!» – а я и знать не знаю этих людей. Это, должно быть, крестьяне. А я работал у господина Балу, на Госпитальном бульваре, и зовут меня Шанматье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтоб там родиться. А оно было бы неплохо. Я думаю, что отец с матерью попросту бродяжничали по дорогам. По правде сказать, мне и самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Малышом, а теперь кличут Стариной. Вот и все мои крестные имена, хотите – верьте, хотите – нет. Я жил в Оверни, жил в Фавероле. Ну так что же из этого, черт побери! Разве нельзя жить в Оверни или в Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорю вам, я ничего не крал, я – дядюшка Шанматье. Я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне все ваши глупости, да и все тут! Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались?

Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю:

– Господин председатель, ввиду сбивчивых, но весьма искусных отпирательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему никак не удастся – об этом мы предупреждаем его заранее, – мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить в этот зал арестантов Бреве, Кошпайля и Шенильдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них допрос касательно тождества личности подсудимого с каторжником Жаном Вальжаном.

– Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, – ответил председатель, – что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание и даже город немедленно после дачи показаний. Мы дали ему разрешение на это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого.

– Совершенно верно, господин председатель, – продолжал товарищ прокурора. – И ввиду отсутствия съера Жавера я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этом самом зале несколько часов назад. Жавер – это человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показание: «Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть заpiresательство подсудимого. Я прекрасно узнал его. Этого человека зовут не Шанматье; это бывший каторжник по имени Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершил попытки к бегству. Помимо кражи у Малыша Жерве и на леваде Пьерона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства, покойного епископа диньского. В бытность мою помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я прекрасно узнал его».

Это определенное показание, видимо, произвело сильное впечатление и на публику, и на присяжных. Заканчивая свою речь, товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы ввиду отсутствия Жавера были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля – Бреве, Шенильдье и Кошпайль.

Председатель отдал приказание одному из судебных служителей, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердца; все, как один, сидели, затаив дыхание.

На бывшем каторжнике Бреве была надета черная с серым куртка – обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В той тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху Реставрации.

– Бреве, – сказал председатель, – вы подверглись позорящему вас приговору и не можете быть приведены к присяге.

Бреве опустил глаза.

– Тем не менее, – продолжал председатель, – даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я надеюсь на это, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним своим словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. Подсудимый, встаньте! Бреве, хорошенько взгляните в подсудимого, напрягите память и скажите, повинуюсь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек – ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан.

Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям.

– Да, господин председатель. Я первый узнал его и стою на своем. Этот человек – Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в тысяча семьсот девяносто шестом году и освобожден оттуда в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый вид – может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его, и у меня нет сомнений.

– Садитесь, – сказал председатель, – а вы, подсудимый, продолжайте стоять.

Ввели Шенильде. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда нарочно ради этого дела. Это был человек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный; вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд – выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадье.

Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенильде вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться и спросил у него, так же как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана.

Шенильде покатылся со смеху.

– Вот тебе и раз! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротить нос, старина?

– Садитесь, – сказал председатель.

Судебный пристав ввел Кошпайля. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенильде, с галер и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кошпайль был не менее дик и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает вчерне, делая их дикими зверьми, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников.

Сделав попытку растрогать его несколькими патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана.

– Это Жан Вальжан, – сказал Кошпайль. – У нас его даже звали Жан Домкрат, такой это был силач.

Каждое показание этих трех людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого, – ропот, который все возрастал и становился все более длительным всякий раз, как новое

свидетельство добавлялось к предыдущему. Что до подсудимого, то он выслушивал их с тем удивленным выражением лица, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным оружием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, услышали, как он пробормотал сквозь зубы: «Вот так так! Тоже нашелся!» После второго он сказал несколько громче и почти одобрительно: «Ловко!» После третьего он вскричал: «Ну и брехун!»

Председатель обратился к нему:

– Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?

Он ответил:

– Я ведь говорю: «Ну и брехун!»

Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Очевидно было, что участь этого человека решена.

– Приставы, – сказал председатель, – водворите тишину. Я закрываю прения.

В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал:

– Бреве, Шенильдье, Кошпайль! Взгляните-ка сюда!

Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий ужас, так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди зала. Председатель, товарищ прокурора, г-н Баматабуа, еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос:

– Господин Мадлен!

## **Глава 11**

### **Удивление Шанматье возрастает**

Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке, в его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка, редингот его был тщательно застегнут. Он был очень бледен и слегка дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Аррас только начинали седеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь.

Все головы обратились в его сторону. Впечатление было неописуемое. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. Голос прозвучал такой мукой, но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека.

Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители двинуться с места, как человек, которого в эту минуту все называли еще господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпайлю, Бреве и Шенильдье.

– Вы не узнаете меня? – спросил он.

Все трое остолбенели от изумления и только отрицательно покачали головой. Кошпайль, оробев, отдал честь по-военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, г-н Мадлен кротко сказал им:

– Господа присяжные, прикажите освободить подсудимого. Господин председатель, прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я – Жан Вальжан.

Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое.

Лицо председателя выразило печаль и сочувствие; он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шепотом сказал несколько слов заседателям. Затем он обратился к публике и спросил тоном, который поняли все:

– Нет ли здесь врача?

Потом заговорил товарищ прокурора.

– Господа присяжные, – сказал он, – необычный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете, хотя бы понаслышке, почтенного господина Мадлена, мэра Монрейля-Приморского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой.

Господин Мадлен не дал товарищу прокурора договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова, которые он произнес, – слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад.

– Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большую ошибку. Отпустите на свободу этого человека, я выполняю свой долг, несчастный осужденный – это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь, и я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит всевышний, и этого для меня довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем; я разбогател, стал мэром, я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. Есть многое, о чем я не могу говорить сейчас, я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь; когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал монсеньора епископа – это правда; я обокрал Малыша Жерве – это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем, – и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа судьи, человек, так низко павший, как я, не имеет права укорять провидение или давать советы обществу; но, видите ли, позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным; каторга переделала меня. Я был тупым – я стал злым; я был поленом – я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома у меня, в камине, в куче золы вы найдете монету в сорок су, которую я украл у Малыша Жерве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О боже! Господин помощник прокурора качает головой, вы говорите: «Господин Мадлен сошел с ума». Вы не верите мне! Как это мучительно! Но по крайней мере не осуждайте этого человека! Как? Эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу!

Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах.

Он обернулся к трем каторжникам:

– А вот я вас сразу узнал! Бреве! Помните ли вы...

Он запнулся, с минуту молчал, колеблясь, потом сказал:

– Помнишь ли ты вязанные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?

Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал:

– Шенильдье или Шельмадье, как ты называешь себя, у тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы: П.К.Р.<sup>29</sup>. Однако они видны до сих пор. Отвечай, правда это?

---

<sup>29</sup> П. К. Р. – пожизненные каторжные работы.



– Правда, – ответил Шенильдье.

Он обратился к Кошпайлю:

– Кошпайль, на сгибе левой руки у тебя выжжена порохом синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, *первое марта тысяча восемьсот пятнадцатого года*. Засучи рукав.

Кошпайль засучил рукав, все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе поднес лампу; дата была видна.

Несчастный человек обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без содрогания.

То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаянья.

– Теперь вы видите, что я Жан Вальжан, – сказал он.

В этом зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; здесь были только напряженные взгляды, растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть; товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять, председатель – что он здесь для того, чтобы председательствовать, защитник – что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь: ни один вопрос не был задан, ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть может, не отдавал себе отчета в своих чувствах; никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души; но все чувствовали себя внутренне ослепленными.

Теперь уже не было сомнений в том, что перед судом стоял настоящий Жан Вальжан. Это было ясно как день.

Его появление немедленно рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны, все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию, поняли сразу и с первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности, колебания, мелкие трудности, могущие возникнуть, потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка.

Это впечатление длилось недолго, но в то мгновение оно было неотразимо.

– Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания, – продолжал Жан Вальжан. – Никто не задерживает меня, и я ухожу. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я, знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно.

Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступилась, давая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, но достоверно одно – что она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал:

– Господин товарищ прокурора, я в вашем распоряжении.

Затем он обернулся к публике:

– Вы все – все, кто находится здесь, – наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой! А я, когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал, считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось.

Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые ему услужить.

Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица, именуемого Шанматье, и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума, и ничего не понимая во всем этом бреде.

## **Книга восьмая**

### **Удар рикошетом**

#### **Глава 1**

#### **В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы**

Начало светать. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз, однако бессонница ее была полна радостных видений; под утро она заснула. Воспользовавшись этим сном, сестра Симплиция, ни на шаг не отходявшая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над своими снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула – перед ней стоял г-н Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно.

– Как! Это вы, господин мэр? – воскликнула она.

Он спросил вполголоса:

– Как здоровье этой бедной женщины?

– Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядком напугала нас.

И она рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что г-н мэр уехал в Монфермейль за ее дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать г-на мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда.

– Это хорошо, – сказал он, – вы правильно поступили, что не разуверяли ее.

– Да, господин мэр, – продолжала сестра, – но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка.

На минуту он задумался.

– Бог наставит нас, – сказал он.

– Однако нельзя же солгать, – прошептала сестра.

В комнате стало уже совсем светло. Лицо г-на Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза.

– О боже! – вскричала она. – Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели.

– Побелели? – повторил он.

У сестры Симплиции не было зеркала; она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда маленькое зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. г-н Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал: «В самом деле!»

Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо думая о другом.

От всего этого на сестру пахнуло чем-то леденящим и неведомым.

Он спросил:

– Можно мне повидать ее?

– А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком? – произнесла сестра, едва отважившись на такой вопрос.

– Непременно, но на это понадобится не менее двух или трех дней.

– Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, – робко продолжала сестра, – то она так и не узнала бы о том, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще

немного, а когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко лжи.

Господин Мадлен задумался на несколько минут, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью:

– Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться.

Монахиня, видимо, не заметила этого «быть может», придававшего словам г-на мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос:

– Она спит, но, раз это нужно, господин мэр, войдите к ней.

Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную, затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полог. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздражающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну, щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало, словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее сейчас, никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть.

Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок; она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу.

Некоторое время г-н Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как это было два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что тогда: она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а его совсем побелели.

Сестра не вошла к Фантине вместе с ним, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании.

Вдруг она открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой:

– А Козетта?

## **Глава 2**

### **Фантина счастлива**

Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости; она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос: «А Козетта?» – задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что г-н Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала:

– Я знала, что вы здесь. Я спала и видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, и вас окружали фигуры ангелов.

Он поднял глаза к распятию.

– Но скажите же мне, где Козетта? – продолжала она. – Почему вы не положили ее прямо ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась.

Он бессознательно ответил ей что-то, но никогда впоследствии не мог припомнить, что именно.

К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к г-ну Мадлену.

– Голубушка, – сказал врач, – успокойтесь. Ваш ребенок здесь.

Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы.

– О, принесите же мне ее! – вскричала она.

Трогательная иллюзия матери! Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках.

– Нет еще, – возразил врач, – не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас.

Она стремительно перебила его:

– Но ведь я уже здорова, говорю вам, здорова! До чего он глуп, этот доктор! Слышите вы! Я хочу видеть моего ребенка, и все тут!

– Вот видите, как вы горячитесь, – сказал врач. – До тех пор пока вы будете вести себя так, я не разрешу вам держать возле себя вашу дочку. Недостаточно еще увидеть ребенка, надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам.

Бедная мать опустила голову.

– Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня. В прежнее время я бы не стала так разговаривать, как сейчас, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю, вы боитесь, чтобы я не взволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но, клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее; она так и стоит у меня перед глазами с самого вчерашнего вечера. Знаете что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве не понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым нарочно для меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне мою Козетту. У меня уже нет жара, я ведь выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятное здешним сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут: надо дать ей ее ребенка.

Господин Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и «быть умницей», как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, – старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она ни сдерживалась, она все же не могла не задать г-ну Мадлену тысячи вопросов:

– Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно: как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно! Она забыла меня за столько времени, бедная крошка! Дети ведь такие беспамятные. Все равно что птички. Сегодня видят одно, завтра другое и сразу все забывают. По крайней мере чистое ли было на ней белье? Аккуратно ли держали ее эти Тенардьё? Как они кормили ее? О, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в дни нужды! Теперь все прошло. Я так рада! Ах, как бы мне хотелось увидеть ее! Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь, правда, она красавица? Вы, наверно, очень озябли в этом дилижансе? Скажите, неужели нельзя принести ее сюда, хотя бы на одну минуточку? А потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели...

Он взял ее за руку.

– Козетта красавица, – сказал он, – Козетта здорова, вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель.

В самом деле, приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове.

Фантина не стала возражать; она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах:

– Не правда ли, Монфермейль – это довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардьё? В тех краях бывает мало народу. Это не постоянный двор, а какая-то харчевня.

Не выпуская ее руки, г-н Мадлен смотрел на нее с тревогой; очевидно было, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра.

Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины:

– Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее!

Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться.

Во дворе играл ребенок – девочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы! В какие только человеческие переживания не вторгаются иногда детские игры! Песенку этой-то девочки и услышала Фантина.

– О! – вскричала она. – Это моя Козетта! Я узнаю ее голосок!

Ребенок исчез так же быстро, как появился; голосок умолк; Фантина прислушивалась еще некоторое время, потом лицо ее омрачилось, и г-н Мадлен услышал, как она прошептала: «Какой дурной человек этот доктор, что не позволяет мне увидеть мою дочку! У этого человека и лицо злое».

Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой: «Какие мы будем с ней счастливые! Во-первых, у нас будет небольшой садик! Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверно, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками. А я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати! Когда же она в первый раз пойдет к причастию?»

Она начала считать по пальцам.

– ...Один, два, три, четыре... сейчас ей семь. Значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки, она будет похожа на маленькую женщину. О добрая моя сестрица, вы еще не знаете, до чего я глупа – я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию!

И она рассмеялась.

Он уже не держал руку Фантины. Он слушал эти слова, как слушают дуновение ветерка, опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его.

Она больше не говорила, она больше не дышала; она приподнялась на своем ложе, ее худое плечо показалось из-под спустившейся сорочки; лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно, и расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты.

– Боже мой! – вскричал он. – Что с вами, Фантина?

Она не ответила, она не отрывала глаз от того, на что смотрела; она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак взглянуть назад.

Он обернулся и увидел Жавера.

### **Глава 3**

### **Жавер доволен**

Вот что произошло.

Пробило половину первого ночи, когда г-н Мадлен вышел из зала аррасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монрейль-Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить Фантину.

Едва он успел покинуть зал заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от первоначального потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля-Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, должно было объясниться в свое время, и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех – публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям г-на Мадлена – другими словами, истинного Жана Вальжана – все дело в корне изменилось и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенциозных замечаний, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и т. д., и т. д.; председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу.

Однако товарищу прокурора требовался ведь какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена.

Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос «касательно нового обвиняемого, касательно особы г-на мэра города Монрейля-Приморского и касательно необходимости его задержать». Эта коллекция «касательных» принадлежит перу г-на товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было вершиться своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек незлой и довольно неглупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покорило то, что мэр Монрейля-Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово *император*, а не *Буонапарте*.

Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрейль-Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу.

Как известно, Жавер вернулся в Монрейль-Приморский немедленно после дачи показаний.

Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного.

Нарочный тоже был из агентов полиции, человек весьма опытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил: «Полицейскому надзирателю Жаверу предписывается задержать съера Мадлена, мэра Монрейля-Приморского, в лице коего суд на заседании от сего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана».

Если бы при входе Жавера в переднюю больницы его увидел человек посторонний, то никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что в нем происходит, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако человек, изучивший его насквозь, внимательно присмотревшись к нему, ощутил бы трепет. Застежка его кожаного воротничка, вместо того чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение.

Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире; он был методически строг в обращении с преступниками и непреклонно суров в отношении пуговиц своей одежды.

Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок – значит, в душе его произошла такая буря, какую можно было бы назвать разве только внутренним землетрясением.

Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он без всяких околичностей явился в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают г-на мэра, указать ему, где лежит Фантина.

Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или полицейского шпика отворил дверь и вошел.

Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за его спиной.

С минуту он простоял так, не замеченный никем. Внезапно Фантина подняла глаза, увидела его и заставила обернуться г-на Мадлена.

В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хоть и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Никакому человеческому чувству не дано порой вселять такой ужас, как это дано радости.

То было лицо сатаны, который вновь обрел своего грешника.

Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся тина со дна взбаламученных вод всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след и в течение нескольких минут принимал Шанматье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознания, что он угадал истину с самого начала и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей наготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии.

Жавер в эту минуту был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою полезность и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции – в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, совесть по мерке закона, общественная кара – все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; он словно вырос-тал, окруженный ореолом; в его победе еще жил отзвук вызова и поединка; надменный, блистательный, он стоял, выставляя напоказ среди бела дня сверхъестественное животное начало какого-то свирепого ангела мщения; в грозной тени свершаемого им дела неясно проступал пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле.

Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.

Честность, искренность, прямодушие, убежденность, преданность долгу – это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок – заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние, зловещее, но требующее уважения. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное

и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.

## Глава 4

### Законная власть восстанавливает свои права

Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда г-н мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, закричала в томительной тревоге:

– Господин Мадлен, спасите меня!

Жан Вальжан – отныне мы уже не будем называть его иначе – поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине:

– Успокойтесь. Он пришел не за вами.

Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему:

– Я знаю, что вам нужно.

Жавер ответил:

– Живо! Идем!

В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то исступленное, что-то дикое. Жавер не сказал: «Живо! Идем!» Он сказал: «Живидем!» Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки; то была уже не человеческая речь, то было рычание.

На сей раз он поступил не так, как обычно: он не объявил о цели своего прихода, он не предъявил даже приказа о доставке арестованного. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал: «Живо! Идем!»

Произнеся эти слова, он не сделал ни шагу; он только метнул на Жана Вальжана тот взгляд, который он закидывал, как крюк, насильственно притягивая им к себе свои несчастные жертвы.

Этот самый взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем.

При окрике Жавера Фантина открыла глаза. Но ведь г-н мэр был здесь. Чего же ей было бояться?

Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул:

– Эй, как тебя там! Пойдешь ты или нет?

Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и г-на мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней. Она задрожала.

И вот она увидела нечто невероятное, нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду.

Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот г-на мэра; она увидела, как г-н мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир.

Жавер, действительно, взял за шиворот Жана Вальжана.

– Господин мэр! – вскричала Фантина.

Жавер разразился смехом, своим ужасным смехом, обнажавшим его зубы до десен.

– Никакого господина мэра здесь больше нет!

Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник редингота. Он сказал:

– Жавер...

– Я для тебя «господин полицейский надзиратель», – перебил его Жавер.



– Сударь, – снова начал Жан Вальжан, – мне хотелось бы сказать вам несколько слов наедине.

– Громко! Говори громко! – ответил Жавер. – Со мной не шепчутся!

Жан Вальжан продолжал, понизив голос:

– Я хочу обратиться к вам с просьбой...

– А я приказываю тебе говорить громко.

– Но этого не должен слышать никто, кроме вас...

– Какое мне дело? Я не желаю слушать!

Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил торопливо и очень тихо:

– Дайте мне три дня! Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины! Я заплачу все, что будет нужно. Вы можете меня сопровождать, если захотите.

– Да ты шутишь! – крикнул Жавер. – Право же, я не считал тебя за дурака! Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки! Ха-ха-ха! Здорово! Вот это здорово!

Фантина затрепетала.

– За моим ребенком! – вскричала она. – Поехать за моим ребенком! Значит, ее здесь нет? Сестрица, отвечайте мне: где Козетта? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!

Жавер топнул ногой.

– И эта туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка! Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями! Ну, нет! Теперь все это переменится. Давно пора!

Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник редингота Жана Вальжана:

– Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то я и держу! Вот и все!

Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки; она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из глубины груди, зубы застучали, она в отчаянье протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати и упала на грудь; рот и глаза остались открытыми, взор погас.

Она была мертва.

Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка, потом сказал Жаверу:

– Вы убили эту женщину.

– Хватит! – с яростью крикнул Жавер. – Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обойдемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то – наручники!

В углу комнаты стояла старенькая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств; Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновение ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулам, вынул из него прут, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.

Жан Вальжан, с железным брусом в руках, медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу:

– Не советую вам мешать мне в эту минуту.

Достоверно известно одно: Жавер вздрогнул.

У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке свою палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана.

Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую Фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно только беспредельное сострадание. После нескольких минут этой задумчивости он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей.

Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно лишь одно: сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего, часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилы.

Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего дитяти; он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.

Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило какое-то непостижимое сияние.

Смерть – это переход к вечному свету.

Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан опустился на колени перед этой рукой, осторожно поднял ее и приложился к ней губами.

Потом он встал и обернулся к Жаверу.

– Теперь я в вашем распоряжении, – сказал он.

## Глава 5

### По мертвецу и могила

Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму.

Арест г-на Мадлена произвел в Монрейле-Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что при этих словах – *бывший каторжник* – почти все отвернулись от него. За какие-нибудь два часа все добро, сделанное им, было забыто и он стал только «каторжником». Правда, подробности происшествия в Аррасе еще не были известны. Целый день повсюду в городе слышались такого рода разговоры:

– Вы еще не знаете? Он каторжник, отбывший срок. – Кто это он? – Да наш мэр. – Как! Господин Мадлен? – Да. – Неужели? – Его и звали-то не Мадлен, у него какое-то жуткое имя – не то Бежан, не то Божан, не то Бужан... – Ах, бог мой! – Его посадили. – Посадили! – В тюрьму, в городскую тюрьму, покамест его не переведут. – Покамест не переведут! Так его переведут? Куда же это? – Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дороге, совершенный им в былые годы. – Ну вот! Так я и знала! Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Он отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему навстречу. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто.

Особенно возмущались им в так называемых салонах.

Одна пожилая дама, подписчица газеты «Белое знамя», высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно.

– Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам!

Так рассеялся в Монрейле-Приморском миф, называвшийся когда-то г-ном Мадленом. Только три или четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу.

Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в каморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на запоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь – сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины.

Около того часа, когда г-н Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты г-на Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. После этого она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Бедная славная старушка проделала все это совершенно бессознательно.

Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и вскричала:

– Господи Иисусе! Подумать только! А я-то повесила его ключ на гвоздик!

В эту самую минуту окно ее каморки отворилось, в отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе.

Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, заглушая готовый сорваться крик.

Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого редингота.

То был г-н Мадлен.

В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова, сердце у нее прямо «захолонуло», как выразилась она, рассказывая впоследствии о своем приключении.

– О господи, это вы, господин мэр! – вскричала она наконец. – А я-то думала, что вы...

Она запнулась, конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром.

Он dokonчил ее мысль.

– В тюрьме, – сказал он. – Я и был там. Я выломал железный прут в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела той бедной женщины.

Старуха поспешно повиновалась.

Он не стал предостерегать ее; он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам.

Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным.

Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату.

Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротился за свечой и снова вошел в комнату.

Эта предосторожность была не лишней; как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание.

Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи. Привратница «прибралась в комнате», но, в отличие от прочих дней, аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня.

Он взял листок бумаги, написал на нем: *«Вот два железных наконечника моей палки и украденная у Мальшиа Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных»*,

потом переложил на этот листок серебряную монету и два куса железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна, в которые он завернул оба серебряных подсвечника. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения, и, заворачивая подсвечники епископа, он в то же время жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им с собой при побеге.

Последнее было обнаружено по хлебным крошкам, найденным на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже.

Кто-то два раза тихо постучал в дверь.

– Войдите, – сказал он.

Вошла сестра Симплиция.

Она была бледна, глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что, до какой бы степени совершенства или черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясения этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала.

Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку со словами:

– Сестрица, передайте это нашему кюре.

Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него.

– Можете прочесть, – сказал он.

Она прочитала: «Я прошу господина кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное – бедным».

Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить:

– Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз эту несчастную страдальцу?

– Нет, – сказал он, – за мной погоня, меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой.

Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи привратницы, громко и пронзительно кричавшей:

– Клянусь господом богом, сударь, что во весь день и во весь вечер сюда не входила ни одна душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!

Мужской голос ответил:

– Однако в этой комнате горит свет.

Они узнали голос Жавера.

Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и встал в этот угол.

Сестра Симплиция упала на колени возле стола.

Дверь отворилась.

Вошел Жавер.

Из коридора слышалось перешептывание нескольких человек и заверения привратницы.

Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.

Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала.

Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге.

Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал ни возражений, ни ограничений. И разумеется, духовная власть стояла для него превыше всего: он был набо-

жен, соблюдал обряды и был так же педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня – существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь затем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину.

Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.

Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. И вторым его побуждением было – остаться и по крайней мере отважиться на вопрос.

Перед ним была та самая сестра Симплиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней.

– Сестрица, – сказал он, – вы одна в этой комнате?

Наступила ужасная минута, бедная привратница едва не лишилась сознания.

Сестра подняла глаза и ответила:

– Да.

– Значит, – продолжал Жавер, – простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, – значит, вы не видели сегодня вечером одну личность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан?

– Нет, – ответила сестра.

Она солгала. Она солгала два раза кряду, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву.

– Прошу прощения, – сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел.

О святая девушка! Вот уже много лет, как тебя нет в этом мире; ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь!

Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства: на столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая.

Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля-Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме своей блузы. Не была ли это та самая блуза?

Еще одно слово о Фантине.

У всех нас есть одна общая мать – земля. Этой-то матери и возвратили Фантину.

Кюре считал, что хорошо поступил, – и может быть, действительно поступил хорошо, – сохранив возможно большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов, о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым – то есть общей могилой.

Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят бесплатно и где бесследно исчезают бедняки. К счастью, богу известно, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с чужим прахом. Она была брошена в общественную могилу. Ее могила была подобна ее ложу.

## Часть II Козетта

### Книга первая Ватерлоо

#### Глава 1

#### Что можно встретить по дороге из Нивеля

В прошлом (1861) году, солнечным майским утром прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла-Гюльп. Он шел по широкому, обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа-Сеньер-Исаак. На западе уже виднелась шиферная колокольня Брен-л'Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади себя раскинувшуюся на холме рощу и на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава № 4», – кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, куда из-под мостовой арки в дорожной насыпи струился ручей. Группы не густых, но ярко-зеленых деревьев, оживлявших долину по одну сторону шоссе, разбегались с противоположной стороны по лугам и в изящном беспорядке тянулись к Брен-л'Алле.

Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымящаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась по ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоялого двора, около лужи, в которой плескалась стоя уток, вела в кустарники скверно вымощенная дорожка. Туда и направился прохожий.

Пройдя около сотни шагов вдоль ограды пятнадцатого столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами, с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались вперемежку всевозможные весенние цветы. Ворота были закрыты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый заржавленный молоток.

Ярко светило солнце; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Маленькая смелая пташка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.

Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись, и появилась крестьянка.

Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.

– Сюда попало французское ядро, – сказала она. Потом добавила: – А вот здесь повыше на воротах, около гвоздя, – это след картечи, но она не пробилла дерева насквозь.

– Как называется это место? – спросил прохожий.

– Гугомон, – ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.

Он находился на поле битвы при Ватерлоо.

## Глава 2

### Гугомон

Гугомон – вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон; первый неподатливый сук под ударом его топора.

Некогда это был замок, ныне – всего только ферма. Гугомон для знатока старины – «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который сделал богатый дар шестому капелланству аббатства Вилье.

Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.

Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле шестнадцатого века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят впечатление величия. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота, времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот – навозная яма, мотыги и лопаты, несколько тачек, старый колодец с каменной плитой на передней его стенке и железной вертушкой на воротах, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, шпалерное грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену этой часовни, – таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры ворошат клювами пыль. Слышится рычание большой собаки, она щерит клыки и заменяет теперь англичан.

Англичане здесь достойны были изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.

Гугомон, изображенный на карте в горизонтальном плане, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные – ворота замка, и северные – ворота фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жерома; здесь столкнулись дивизии Гильемино, Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб, Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна лишь с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не могла.

Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколотенные к двум перекидинам, и на них отчетливо видны шрамы, полученные во время атаки.

В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. Яростен был бой за этот вход. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.

Еще до сей поры ураган боя ощущается на этом дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре; это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут брешки; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.

Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.

Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное крыло здания – все, что осталось от Гугомонского замка. Замок послужил крепостью, часовня – блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон – из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, из всех окон, из всех отдушин, из всех щелей в стенах, – притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.

В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, вся рассеявшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Эта лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене, на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосыгаемые ступени крепко сидят в своих гнездах. Вся остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждую весну зеленеет вновь. Оно начало прорасти сквозь лестницу с 1815 года.

Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времени этой бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой там уцелел – грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре стены, выбеленные известкой, против престола дверь, два маленьких полукруглых окна, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама – такова эта часовня. Около аналая прибита деревянная, пятнадцатого века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем вытесненные из нее, подожгли ее. Пламя охватило это ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию.

Стены все испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: «Henquines»<sup>30</sup>. А дальше: «Conde de Rio Maïor»<sup>31</sup>. Marques y Marquesa de Almagro (Habana)»<sup>32</sup>. Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили друг друга.

Именно возле двери этой часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро.

Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают более воды. Почему же из него не черпают более воды? Потому что он набит скелетами.

<sup>30</sup> Энкинес (*исп.*).

<sup>31</sup> Граф де Рио Майор (*исп.*).

<sup>32</sup> Маркиз и маркиза де Альмагро (Гаванна) (*исп.*).



Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.

Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют всему несчастному разбежавшемуся населению. Еще доныне сохранились ясные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места этих жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.

Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножами сабель, заставили этого запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был принести им пить, черпая воду из этого колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.

После сражения очень торопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, – дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф – непременно дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание говорит, что не все. Говорят, что в ночь после погребенья из колодца слышались слабые голоса, зывавшие о помощи.

Этот колодец расположен особняком посредине двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца – вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились лишь балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой.

Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью бесформенными обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и от времени до времени из соседних роц залетает сюда какая-нибудь пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.

Единственный жилой дом среди этих развалин – ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.

Семья, ныне живущая в этом доме, является потомством давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне: «Я была свидетельницей происходившего. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя старшая сестра боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали к земле ухом. А я повторяла за пушкой: «Бум, бум».

Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.

Вид фруктового сада ужасен.

Он состоит из трех частей, вернее сказать – из трех актов драмы. Первая часть – цветник, вторая – фруктовый сад, третья – роща. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа – строения замка и ферма, налево – плетень, направо – стена, в глубине – стена. Правая стена кирпичная, стена в глубине – каменная. Прежде всегоходишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной, облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же это руины

и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.

Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.

Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение какого-нибудь часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, что стены тут и сейчас готовы ринуться в бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на различной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь на южной стене, со стороны которой велось главное наступление. Снаружи эта стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом лишь эту изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду – на английскую гвардию, на тридцать восемь орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль; и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.

Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обагрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся источена картечью.

Но и этот фруктовый сад, как всякий иной сад, не остается безучастным к приходу весны. И в нем распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнувшим на них бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блэкман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая, больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.

Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блэкман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены, задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, – и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка, и, если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо!»

## Глава 3

### 18 июня 1815 года

Возвратимся назад – это право каждого повествователя – и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.

Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужен лишь легкий дождь; достаточно было тучи, пронесшейся по небу вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира.

Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что почва размокла и необходимо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.

Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира: «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию – вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал исход их пушкой. Его гений – гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск – вот его цель; разить, разить, разить непрерывно – и это дело он доверил ядру. Устрашающая система, которая в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым этого мрачного мастера ратного дела.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона – двести сорок.

Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя и битва могла бы начаться в шесть утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.

Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?

Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего, дуновение которого ощущал? Перестал ли – что так важно для главнокомандующего – сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микеланджело стареть – значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон верного чутья победы? Не дошел ли он уже до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возникший судьбы просто в беспримерного сорвиголову?

Мы этого отнюдь не думаем.

Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон-Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море – вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.

Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования; к тому же она описана, и мастерски описана, Наполеоном – с одной точки зрения, и целой плеядой историков<sup>33</sup> – с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, сами останемся лишь отдаленным зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над этой землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему воззрений. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке – этом загадочном обвиняемом, – то мы судим его, как судит народ – этот простодушный судья.

## Глава 4

### А

Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо лишь вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая палочка этой буквы – дорога на Нивель, правая – дорога на Женап, поперечная черточка буквы А – проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен-л'Алле. Верхняя точка буквы А – Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка – Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка – Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает правую палочку буквы А, расположен Ге-Сент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва – символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник, заключенный в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, – это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось все сражение.

Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Д'Эрлон стоял против Пиктона, а Рейль – против Гиля.

За вершиной буквы А, позади плато Мон-Сен-Жан, находится Суаньский лес.

Что же касается самой равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый последующий вал встает над предыдущим, а все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.

Два неприятельских войска на поле битвы – это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все: любой куст – опора, угол стены – защита; отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, вовремя пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг – все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы – побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего тщательно всматриваться во всякую группу деревьев, проверять малейший холмик.

<sup>33</sup> Вальтер Скотт, Ламартин, Волабель, Шарас, Кине, Тьер. (Прим. автора)

Оба полководца внимательно изучили равнину Мон-Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. Еще за год до того Веллингтон ее исследовал с мудрой предусмотрительностью, на случай большого сражения. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались на стороне Веллингтона, худшие – на стороне Наполеона. Английская армия находилась наверху, а французская внизу.

Почти излишне изображать здесь Наполеона в утро 18 июня 1815 года, на коне, с подзорной трубой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Этот спокойный профиль под маленькой форменной шапочкой Бриеннской школы, этот зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком, по углам которого вышиты буквы N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, – весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.

Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.

Ясность истории неумолима. История таит в себе то странное и божественное свойство, что, будучи сама светом, и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, и мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца. Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, поработенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе.

## Глава 5

### Quid obscurum<sup>34</sup> сражений

Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан – в большей степени, чем для французов.

Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. Там и сям в углублениях долины скопилась вода, словно в бассейнах; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, примятые беспорядочным потоком этихдвигающихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в небольших долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.

Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр,

<sup>34</sup> Нечто темное, неизвестное (лат.).

бросив бригаду Кио на Ге-Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего в своем тылу Папелот.

Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево – таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь еще четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон.

Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен-л'Алле, оттуда к Галю, – ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге-Сент взят приступом.

Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Эти молодые солдаты отважно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустрашимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом; новобранцы выказали здесь чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге-Сента исход битвы стал сомнительным.

В этом дне от двенадцати до четырех часов есть темный промежуток; середина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленками и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, – все это представляется рядом картин, но не рядами войск, построенных по правилам стратегии, и интересно для Сальватора Розы, но не для Грибовала.

Во всякой битве всегда есть что-то общее с бурей. *Quid obscurum, quid divinum!*<sup>35</sup> Каждый историк изображает несколько поразивших его в этой схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то, как рыхлый грунт – здесь быстрее, а там медленнее – поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Вот издержки, которые нельзя предвидеть.

Линия расположения войск колыхнется и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт армий колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы, людские рифы непрерывно перемещаются, одни впереди других; там, где только что была пехота, появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите – его уж нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются назад. Какой-

<sup>35</sup> Нечто темное, нечто божественное (*лат.*).

то могильный ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает эти трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? Колебание. Устойчивость математического плана выражает лишь минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос. Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мелькает, переходя в стычку, она дробится и распыляется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, «относятся скорее к биографии полков, чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основные контуры борьбы, и ни одному повествователю, каким бы добросовестным он ни был, не дано запечатлеть полностью облик той грозной тучи, имя которой – битва.

Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо.

Но все же после полудня, в известный момент, исход битвы начал определяться.

## Глава 6

### Четыре часа пополудни

К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль – правым крылом, Пиктон – левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Не смей отступать!» Уже слабевший Гиль стал под защиту Веллингтона, Пиктон был убит. В ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка, французы сразили пулей в голову навывлет генерала Пиктона. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге-Сент: Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге-Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых только сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражающихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев не существовало более; могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии – пятая и шестая – разгромлены.

Гугомон был обречен, Ге-Сент взят, – оставался еще один оплот, центр. Он держался непоколебимо. Веллингтон усилил его. Он туда вызвал Гиля, находившегося в Мерб-Брене, он туда вызвал Шассе, находившегося в Брен-л'Алле.

Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди – откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка шестнадцатого века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато там и сям англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была помещена в засаде, в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществ-

лен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.

Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, был в выгодном положении.

Уязвимое место этой позиции представлял Суаньский лес, смежный в то время с полем боя и перерезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки – расстроиться, артиллерия – погибнуть в болотах. По мнению многих специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь явилось бы беспорядочным бегством.

Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, сверх того, дивизию Клинтона. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда, он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в лощине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженной прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.

Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным откосом. Но работа над этим укреплением не была завершена; не хватило времени обнести его палисадом.

Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрашный, верхом на коне, не трогаясь с места, весь день простоял чуть впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?» – «Поступать так, как я», – ответил Веллингтон. Клинтону он коротко приказал: «Держаться до последнего человека». Было очевидно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» – кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.

Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли назад. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все другое вдруг исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся, Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» – воскликнул Наполеон.

## Глава 7

### Наполеон в духе

Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как в этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел.



Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит богу.

«*Ridet Caesar, Pompeius flebit*»<sup>36</sup>, – говорили воины легиона *Fulminatrix*<sup>37</sup>. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.

Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы, смежные с Россомом, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен-л' Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, придет в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; и спутник его услышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова: «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже не были больше заодно.

Ни на секунду он не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» – говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.

В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности, бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! – воскликнул Наполеон. – Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».

Утром на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, с охапкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Вот забавная шахматная доска!»

Вследствие ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста». В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то рассказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал – сегодня». Император подсмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не до такой степени прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, то была манера Наполеона. «Он охотно шутил», – говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», – говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, скорее своеобразными, нежели остроумными», – говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполина стоят того, чтобы на них остановиться. Это он называл своих

<sup>36</sup> Смеется Цезарь, Помпей заплачет (*лат.*).

<sup>37</sup> Молниевеерца (*лат.*).

гренадер «ворчунами»; он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», – вот фраза одного из них. Во время тайного переезда с острова Эльбы во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на своей шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и сам ответил: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на подобную шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеоном несколько раз овладевал приступ смеха. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружившись перьями и положив лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.

В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, барабанной дробью, звучаньем сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, – император, взволнованный видом этого моря касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»

С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия, что может показаться невероятным, успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя, по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения фронта войск в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи из двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов – д'Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон-Сен-Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, сказал: «Вот двадцать четыре прелестные девушки, генерал».

Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него саперов первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления: заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строящихся сомкнутой колонной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль».

Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Женапа в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья – в семь часов вечера – между Бель-Альянс и Ге-Сент была очень опасна; это довольно высокий пригорок, существующий еще и теперь; позади него, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг пригорка ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной – *scabra rubigine*. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у своего основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина, как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел сам в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины.

Теперь холмистых неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого

мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем более разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя». Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в отлогий откос по направлению к нивельской дороге, но почти отвесный со стороны женапской дороги. Высоту его можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель; слева могила англичан, справа – немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина – усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу на плато Мон-Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге-Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкарники не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали нельзя было и подозревать.

Что же это был за ров? Поясним. Брен-л'Алле – одна бельгийская деревня. Оэн – другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких извилинах местности, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы, вследствие чего во многих местах превращается в овраг. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон-Сен-Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролежала глубоко внизу. Оба ее откоса были скрыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. На большей части протяжения эта дорога, как и когда-то, представляет собою траншею, доходящую порой до двенадцати футов глубины; слишком крутые откосы ее местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен-л'Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя» и даты его гибели: «февраль 1637»<sup>38</sup>. Дорога настолько глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест, верхушка которого исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на скате, поросшем травой, с левой стороны дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан.

В день битвы эта дорога, на присутствие которой тогда ничего не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине крутого откоса или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, – иначе говоря, страшно опасна.

## Глава 8

### Император задает вопрос проводнику Лакосту

Итак, утром в день Ватерлоо Наполеон был доволен.

Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.

И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии – упорное сопротивление Гугомона и Ге-Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное

---

<sup>38</sup> Вот эта надпись: «Превеликий, преблагый господь бог с тобою. Здесь волей несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя (неразборчиво) февраля 1637».

препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролегающую внизу дорогу; слишком слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи; бесполезный маневр Пирэ при Брен-л'Алле, почти полностью уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; незапланированная демаскировка фланговой, расположенной наискосок, батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье – этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы – как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге-Сента; дивизия Марконье, зажата между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пактом и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д'Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков; тревожное сообщение черного гусара-пруссак, пойманного разведчиками летучей колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа; опоздание Груши; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, – все эти бурные события, словно грозовые облака, пронесившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался сложением, цифра за цифрой, прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму – победу. Пусть неудачным оказалось начало, это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» – казалось, говорил он року.

Представляя собою сочетание света и тьмы, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло – ее терпимость к себе. Он имел – или верил в то, что имеет, – на своей стороне потворство, можно почти сказать сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.

Однако тому, у кого были позади Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не надлежало бы доверять Ватерлоо. Уже зловеще хмурилось небо над его головой.

В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон-Сен-Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.

Загнать Веллингтона в Суаньский лес и там разгромить – вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.

Тогда император, обдумывая эту грозную развязку, в последний раз оглядел в подзорную трубку все поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, взирала на него снизу вверх с каким-то благоговением. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в группы деревьев, в квадраты ржи, тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально он всматривался в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев – одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабжен-

ную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, и другую – на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню Святого Николая, что на повороте дороги в Брен-л'Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности, тая коварный умысел.

Император выпрямился и задумался.

Веллингтон отступил.

Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.

Внезапно обернувшись. Наполеон спешно отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.

Наполеон был одним из гениев-громовержцев.

И вот теперь молния ударила в него самого.

Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато Мон-Сен-Жан.

## Глава 9

### Неожиданность

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними, как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра-Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря – тысяча сто девяносто семь человек, и гвардейские уланы – восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре, и, развернувшись в две шеренги между женоапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом – кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами.

Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись.

Тогда представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, с саблями наголо, с развевающимися по ветру штандартами, с поднятыми вверх трубами, сформированная в колонны по дивизионам, единым духом, как один человек, с точностью бронзового тарана, пробивающего брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубину, поглотившую уже столько людей, скрылась там в дыму, потом, вырвавшись из этого мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон-Сен-Жан. Они поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Состоя из двух дивизий, они двигались двумя колоннами: дивизия Ватье – справа, дивизия Делора – слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо.

Ничего подобного не было видано со времени взятия тяжелой кавалерией большого московского редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось, что вся эта масса людей превратилась в сказочного дива и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь разорванное местами огромное облако дыма, извивались и вздувались, как кольца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар – хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных

крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А над всем этим – кирасы, как чешуя гидры.

Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпopeях, повествовавших о полуклюдах-полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человеческими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные; боги и звери одновременно.

Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, в тени скрытой батареи, английская пехота, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть – на второй, взяв ружья на изготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч лошадей, бежавших крупной рысью, попеременный и мерный стук их копыт, бряцанье сабель, звяканье кирас и какое-то могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.

Вдруг – о ужас! – налево от англичан, направо от нас, среди раздавшегося страшного вопля, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся необузданной ярости и готовые к смертоносной атаке на неприятельские каре и батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в ложбине дорога на Оэн.

Мгновение это было ужасно. Перед ними, непредвиденный, круто обрываясь вниз под самыми копытами лошадей, меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, а третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались назад, падали на круп, скользили по откосу ногами вверх, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли все уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти.

Это было началом проигрыша сражения.

Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на этой оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.

Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.

Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако, предупрежденный видом маленькой белой часовни на пересечении этой дороги с нивельским шоссе, он насторожился и спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.

Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.

Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был бог.

Победа Бонапарта при Ватерлоо не входила больше в расчеты девятнадцатого века. Подготавливался другой ряд событий, где Наполеону уже не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до того.

Пробил час падения этого необыкновенного человека.

Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Этот избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный, в конечном итоге, мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли те правила и те основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы – все это грозные обвинители. Когда мир страдает от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стечения, и бездна внемлет им.

На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено.

Он мешал богу.

Ватерлоо отнюдь не битва. Это изменение облика всей вселенной.

## **Глава 10**

### **Плато Мон-Сен-Жан**

Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.

Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее.

Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не останавливались ни на мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности.

Колонна Ватье одна пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороной, влево, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре.

Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах, с пистолетами в руках, – такова была эта атака.

В сражениях бывают минуты, когда душа человека до того ожесточается, что превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском.

Тогда наступило нечто страшное.

Весь фронт английских каре был атакован сразу. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колени, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзлся, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди этих четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, а кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные лошадьми. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, никогда не видали при других битвах. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди самой массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры – не кавалерия, а ураган. Каждое каре превратилось в вулкан, атакованный тучей; лава боролась с молнией.

Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане, в глубоком спокойствии опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминая об Аргосе. Сабля кирасира, отсекая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.

Кирасирам, сравнительно немногочисленным, к тому же понесшим потери при катастрофе в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.

Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди – каре, позади – Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четырехсот гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую – Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться во все стороны. Но не все ли равно им было? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.

Кроме того, в тылу у них непрерывно гремела батарея. Только при таком условии эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции музея Ватерлоо.

Против таких французов могли устоять только такие же англичане.

То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра-Денуэта. Плато Мон-Сен-Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту, – вернее говоря, в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться.

Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегла на плато. Битва длилась два часа.

Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой на дороге в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талавера и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»<sup>39</sup>

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.

Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба они, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый?

Борьба на плато продолжалась.

Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы определить этого. Достоверно лишь одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги – на Нивель, Женап, Ла-Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские

<sup>39</sup> Splendid! – подлинное его выражение. (Прим. автора)



линии. Один из людей, поднявших труп, до сих пор проживает в Мон-Сен-Жан. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.

Кирасиры не достигли желаемой цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю.

Но поражение англичан казалось неизбежным: армия ужасающим образом истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Их нет, – отвечал Веллингтон, – пусть даст себя убить!» Почти в ту же самую минуту – и это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий – Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму? Сотворить мне ее, что ли»

Однако английская армия была более истощена. Яростные броски этих исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк; иными батальонами командовали теперь только капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге-Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван-Клузе устилали своими трупами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не оставалось почти ни единого человека от тех голландских гренадер, которые в 1811 году в одних рядах с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном. Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. Если у французов во время атаки кирасир выбыли из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, то у англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омштеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен, и на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; у 79-го полка горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, – его впоследствии судили и разжаловали, – повернул вспять, испугавшись рукопашной схватки, и бежал Суаньским лесом, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили: «Спасите!» От Вер-Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII – в Генте. За исключением слабого резерва, построенного эшелонами позади лазарета на ферме Мон-Сен-Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, сбитые с лафетов.

Эти факты подтверждены Сиборном, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кригс-комиссар Винцент, испанский кригс-комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие слышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»

Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона.

И тут наступил перелом в этой исполинской драме.

## **Глава 11**

### **Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова**

Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши, а явился Блюхер – смерть вместо жизни.

Судьба порой делает такие крутые повороты: человек рассчитывал на мировой трон, а перед ним возникает остров Св. Елены.

Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу повыше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба девятнадцатого века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым иным путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.